



МЭРИ

ШЕЛЛИ

*ФРАНКЕНШТЕЙН,
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ
ПРОМЕТЕЙ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Annotation

«Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818 г.) – роман, написанный Мэри Шелли в 19 лет, ставший чуть ли не самым известным фантастическим романом в истории литературы. Имя Франкенштейна уже давно вышло за пределы книги, стало предметом многочисленных переработок, подражаний, персонаж как будто перерос сам себя. Это страшная, пугающая история об ученом Викторе Франкенштейне, которому удалось постичь тайну зарождения жизни и создать существо, которое окажется монстром, безобразным, жестоким и безумным. Это творчество дорого обойдется создателю – фактически монстр разрушит всю его жизнь...

- [Мэри Шелли](#)
 -
 - [Предисловие автора к изданию 1831 года](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Глава XII](#)
 - [Глава XIII](#)
 - [Глава XIV](#)
 - [Глава XV](#)
 - [Глава XVI](#)
 - [Глава XVII](#)
 - [Глава XVIII](#)
 - [Глава XIX](#)
 - [Глава XX](#)
 - [Глава XXI](#)

- [Глава XXII](#)
 - [Глава XXIII](#)
 - [Глава XXIV](#)
 - [Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей»](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
-

Мэри Шелли Франкенштейн, или Современный Прометей

© Перевод. З. Александрова, наследники, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Предисловие автора к изданию 1831 года

Издатели «Образцовых романов», включив «Франкенштейна» в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила для них историю создания этой повести. Я согласилась тем более охотно, что это позволит мне ответить на вопрос, который так часто мне задают: как могла я, в тогдашнем своем юном возрасте, выбрать и развить столь жуткую тему? Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати; но поскольку мой рассказ будет всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничится темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости.

Нет ничего удивительного в том, что я, дочь родителей, занимающих видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве. Я марала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было «писать разные истории». Но была у меня и еще большая радость: возведение воздушных замков – грезы наяву, – когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. Эти грезы были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я рабски подражала другим – стремилась делать все, как у других, но не то, что подсказывало мое собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя – подруги моего детства; а мои грезы принадлежали мне одной; я ни с кем не делилась ими; они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга.

Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и нелюдимых северных берегах Тэй, вблизи Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и нелюдимыми; но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. В ту пору я писала, но это были весьма прозаические вещи. Истинные мои произведения, где вольно взлетала моя фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор.

В героини моих повестей я никогда не избирала самое себя. Моя жизнь казалась мне чересчур обыденной. Я не мыслила себе, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения; но я не замыкалась в границах собственной личности и

насеяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте были мне куда интереснее моего собственного бытия.

Впоследствии моя жизнь заполнилась заботами, и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности, да и сама я в ту пору желала ее, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он желал, чтобы я писала, не столько потому, что считал меня способной написать что-либо заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем. Но я ничего не предпринимала. Переезды и семейные заботы заполняли все мое время; литературные занятия сводились для меня к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом.

Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах; лорд Байрон, в то время сочинявший 3-ю песнь «Чайльд Гарольда», был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались.

Но лето оказалось дождливым и ненастным; непрерывный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский. Там была «Повесть о неверном возлюбленном», где герой, думая обнять невесту, с которой только что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака той, которую когда-то покинул. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь при неверном свете луны исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в «Гамлете», но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен; но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон. С невыразимой скорбью на лице он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелуй на челе юношей, которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля.

С тех пор я не перечитывала этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера.

«Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть», – сказал лорд Байрон, и это предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме «Мазепа». Шелли, которому лучше удавалось воплощать свои мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, чем сочинять фабулу рассказа, начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей первой юности. Бедняга Полидори придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп – в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину; не помню уж, что она хотела увидеть, но, наверное, нечто неподобающее; расправившись с ней, таким образом, хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри, он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в семейный склеп Капулетти – единственное подходящее для нее место. Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого.

А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Таковую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать, но тщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие – худшую муку сочинителей, – когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» – спрашивали меня каждое утро, и каждое утро, как ни обидно, я должна была отвечать отрицательно.

«Все имеет начало», говоря словами Санчо; но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит. Индийцы считают, что мир держится на слоне, но слона они ставят на черепахе. Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь из хаоса; им нужен прежде всего материал; они могут придать форму бесформенному, но не могут рождать самую сущность. Все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе и его яйце. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли.

Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе секрет зарождения жизни и возможность когда-нибудь открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина (я не имею здесь в виду того, что доктор

действительно сделал или уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме); он будто бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока тот каким-то образом не обрел способности двигаться. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Быть может, удастся оживить труп; явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться; быть может, ученые научатся создавать отдельные органы, соединять их и вдыхать в них жизнь.

Пока они беседовали, подошла ночь; было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Положив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являвшиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинувшись некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно; ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зароненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставить самой себе; что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой материей; он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он считал за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будит его; он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавеси у его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами.

Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее как сейчас: комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальное озеро и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу – к злополучному рассказу, который так долго не получался!

О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх, какой пережила я в ту ночь!

И тут меня озарила мысль, быстрая как свет и столь же радостная: «Придумала! То, что напугало меня, напугает и других; достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели».

Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Это было ненастной ноябрьской ночью», а затем записала свой ужасный сон наяву.

Сперва я думала уместить его на нескольких страницах; но Шелли убедил меня развить идею подробнее. Я не обязана моему мужу ни одним эпизодом, пожалуй, даже ни одной мыслью этой повести, и все же, если б не его уговоры, она не увидела бы света в своей нынешней форме. Сказанное не относится к предисловию. Насколько я помню, оно было целиком написано им.

И вот я снова посылаю в мир мое уродливое детище. Я питаю к нему нежность, ибо оно родилось в счастливые дни, когда смерть и горе были для меня лишь словами, не находившими отклика в сердце. Отдельные страницы напоминают о прогулках, поездках, беседах, когда я была не одна и когда моим спутником был человек, которого в этом мире я больше не увижу.

Это, впрочем, касается меня одной; читателям нет дела до моих воспоминаний.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

В Англию, м-с Сэвилл,
Санкт-Петербург, 11 дек. 17.

Ты порадуешься, когда услышишь, что предприятие, вызывавшее у тебя столь мрачные предчувствия, началось вполне благоприятно. Я прибыл сюда вчера и спешу прежде всего заверить мою милую сестру, что у меня все благополучно и что я все более убеждаюсь в счастливом исходе моего дела.

Я нахожусь уже далеко к северу от Лондона; прохаживаясь по улицам Петербурга, я ощущаю на лице холодный северный ветер, который меня бодрит и радует. Поймешь ли ты это чувство? Ветер, доносящийся из краев, куда я стремлюсь, уже дает мне предвкушать их ледяной простор. Под этим ветром из обетованной земли мечты мои становятся живее и пламенней. Тщетно стараюсь я убедить себя, что полюс – это обитель холода и смерти; он предстает моему воображению как царство красоты и радости. Там, Маргарет, солнце никогда не заходит; его диск, едва подымаясь над горизонтом, излучает вечное сияние. Там – ибо ты позволишь мне хоть несколько доверять бывалым мореходам – кончается власть мороза и снега, и по волнам спокойного моря можно достичь страны, превосходящей красотой и чудесами все страны, доныне открытые человеком. Природа и богатства этой неизведанной страны могут оказаться

столь же диковинными, как и наблюдаемые там небесные явления. Чего только нельзя ждать от страны вечного света! Там я смогу открыть секрет дивной силы, влекущей к себе магнитную стрелку; а также проверить множество астрономических наблюдений; одного такого путешествия довольно, чтобы их кажущиеся противоречия раз и навсегда получили разумное объяснение. Я смогу насытить свое жадное любопытство зрелищем еще никому не ведомых краев и пройти по земле, где еще не ступала нога человека. Вот что влечет меня – побеждая страх перед опасностью и смертью и наполняя меня перед началом трудного пути той радостью, с какой ребенок вместе с товарищами своих игр плывет в лодочке по родной реке, на открытие неведомого. Но если даже все эти надежды не оправдаются, ты не можешь отрицать, что я окажу неоценимую услугу человечеству, если хотя бы проложу северный путь в те края, куда ныне нужно плыть долгие месяцы, или открою тайну магнита, – ведь если ее вообще можно открыть, то лишь с помощью подобного путешествия.

Эти размышления развеяли тревогу, с какой я начал писать тебе, и наполнили меня возвышающим душу восторгом, ибо ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели – точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Эта экспедиция была мечтой моей юности. Я жадно зачитывался книгами о путешествиях, предпринятых в надежде достичь северной части Тихого океана по полярным морям. Ты, вероятно, помнишь, что истории путешествий и открытий составляли всю библиотеку нашего доброго дядюшки Томаса. Образование моим никто не занимался; но я рано пристрастился к чтению. Эти тома я изучал днем и ночью и все более сожалел, что мой отец, как я узнал, еще будучи ребенком, перед смертью строго наказал моему дяде не пускать меня в море.

Мечты о море поблекли, когда я впервые познакомился с творениями поэтов, восхитившими мою душу и вознесшими ее к небесам. Я сам стал поэтом и целый год прожил в Эдеме, созданном моей фантазией. Я вообразил, что и мне суждено место в храме, посвященном Гомеру и Шекспиру. Тебе известна постигшая меня неудача и то, как тяжело я пережил это разочарование. Но как раз в то время я унаследовал состояние нашего кузена, и мысли мои вновь обратились к мечтам моего детства.

Вот уже шесть лет, как я задумал свое нынешнее предприятие. Я до сих пор помню час, когда решил посвятить себя этой великой цели. Прежде всего я начал закалять себя. Я сопровождал китоловов в северные моря; я добровольно подвергал себя холоду, голоду, жажде и недосыпанию. Днем

я часто работал больше матросов, а по ночам изучал математику, медицину и те области физических наук, которые более всего могут понадобиться мореходу. Я дважды нанимался подшкипером на гренландские китобойные суда и отлично справлялся с делом. Должен признаться, что я почувствовал гордость, когда капитан предложил мне место своего первого помощника и долго уговаривал меня согласиться: так высоко он оценил мою службу.

А теперь скажи, милая Маргарет: неужели я не достоин свершить нечто великое? Моя жизнь могла бы пройти в довольстве и роскоши; но всем соблазнам богатства я предпочел славу. О, если б прозвучал для меня чей-нибудь ободряющий голос! Мужество и решение мои непоколебимы; но надежда и бодрость временами мне изменяют. Я отправляюсь в долгий и трудный путь, где потребуется вся моя стойкость. Мне надо будет не только поддерживать бодрость в других, но иногда и в себе, когда все остальные падут духом.

Сейчас лучшее время года для путешествия по России. Здешние сани быстро несутся по снегу; этот способ передвижения приятен и, по-моему, много удобнее английской почтовой кареты. Холод не страшен, если ты закутан в меха; такой одеждой я уже обзавелся, ибо ходить по палубе – совсем не то, что часами сидеть на месте, не согревая кровь движением. Я вовсе не намерен замерзнуть на почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

В последний из названных мной городов я отправлюсь через две-три недели и там думаю нанять корабль, а это легко сделать, уплатив за владельца страховую сумму; хочу также набрать нужное мне число матросов из тех, кто знаком с китоловным промыслом. Я думаю пуститься в плавание не раньше июня, а когда возвращусь? Ах, милая сестра, что могу я ответить на это? В случае удачи мы не увидимся много месяцев, а может, и лет. В случае неудачи ты увидишь меня скоро – или не увидишь никогда.

Прощай, моя милая, добрая Маргарет. Пусть бог благословит тебя и сохранит мне жизнь, чтобы я мог еще не раз отблагодарить тебя за твою любовь и заботу. Любящий тебя брат

Р. Уолтон.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

В Англию, м-с Сэвилл,
Архангельск, 28 марта 17.

Как долго тянется время для того, кто скован морозом и льдом! Однако я сделал еще один шаг к моей цели. Я нанял корабль и набираю матросов;

те, кого я уже нанял, кажутся мне людьми надежными и, несомненно, отважными.

Мне не хватает лишь одного – не хватало всегда, но сейчас я ощущаю отсутствие этого как большое зло. У меня нет друга, Маргарет; никого, кто мог бы разделить со мною радость, если мне суждено счастье успеха; никого, кто поддержал бы меня, если я паду духом. Правда, я буду верить свои мысли бумаге; но она мало пригодна для передачи чувств. Мне нужно общество человека, который сочувствовал бы мне и понимал с полуслова. Ты можешь счесть меня излишне чувствительным, милая сестра, но я с горечью ощущаю отсутствие такого друга. Возле меня нет никого с душою чуткой и вместе с тем бесстрашной, с умом развитым и восприимчивым; нет друга, который разделял бы мои стремления, мог одобрить мои планы или внести в них поправки. Как много мог бы подобный друг сделать для исправления недостатков твоего бедного брата! Я излишне поспешен в действиях и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но еще большим злом является то, что я учился самоучкою: первые четырнадцать лет моей жизни я гонял по полям и читал одни лишь книги о путешествиях из библиотеки нашего дядюшки Томаса. В этом возрасте я познакомился с прославленными поэтами моей страны; но слишком поздно убедился я в необходимости знать другие языки, кроме родного, – когда уже не мог извлечь из этого убеждения никакой истинной пользы. Сейчас мне двадцать восемь, а ведь я невежественнее многих пятнадцатилетних школьников. Правда, я больше их размышлял и о большем мечтаю; но этим мечтам недостает того, что художники называют «соотношением», и мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить.

Впрочем, все эти жалобы бесполезны; какого друга могу я обрести на океанских просторах или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им, при всей их внешней грубости, не чужды благородные чувства. Мой помощник, например, человек на редкость отважный и предприимчивый; он страстно жаждет славы, или, вернее сказать, преуспевания на своем поприще. Он родом англичанин и при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна: узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии.

Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием и привлекли меня. Моя юность,

проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах; я никогда не считал ее необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на их брак. Перед свадьбой он встретился со своей невестой; но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее; она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее и, справившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда, – все это, вместе с остатками наградных денег, он отдал своему сопернику на обзаведение и сам испросил у отца девушки согласия на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом; тогда тот, видя упорство старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. «Какое благородство!» – воскликнешь ты. Да, он именно таков, но при этом совершенно необразован, молчалив и угрюм, что, конечно, делает его поступок еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которые этот человек мог бы вызывать.

Но если я порой жалею и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, быть может, не суждена, не думай, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба; и плавание мое отложено лишь потому, что к этому нас вынуждает погода. Она была на редкость суровой; но весна обещает быть дружной и очень ранней; так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво; ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда мне вверена безопасность других.

Не могу описать тебе моих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить трепетное чувство, радостное и вместе тревожное, с каким я готовлюсь в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в «края туманов и снегов», но я не намерен убивать альбатроса, поэтому не бойся за меня, – я не вернусь к тебе разбитым и больным, как «Старый мореход». Ты улыбнешься при этой аллюзии; но я открою тебе один секрет. Мою

страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы вплетаются любовь к чудесному и вера в чудесное, увлекающие меня вдаль от проторенных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать.

Вернусь, однако, к вещам, более близким сердцу. Увижу ли я тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря и вернусь назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности; быть может, письма твои дойдут до меня, когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно. Помни обо мне с любовью, если больше обо мне не услышишь. Любящий тебя брат

Роберт Уолтон.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

В Англию, м-с Сэвилл,

7 июля 17.

Дорогая сестра!

Пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, которое сейчас отправляется из Архангельска; оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр; мои люди отважны и тверды; их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом как предвестники ожидающих нас опасностей. Мы достигли уже очень высоких широт; но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, какого я здесь не ждал.

До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне – все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков; я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого.

До свидания, милая Маргарет. Будь уверена, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен.

Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане; самые звезды являются свидетелями моего триумфа.

Почему бы мне не пройти и дальше, в глубь непокоренной, но послушной стихии? Что может преградить путь отваге и воле человека?

Переполюнявающие меня чувства невольно рвутся наружу; а между тем пора кончать. Да благословит небо мою милую сестру!

Р. У.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

В Англию, м-с Сэвилл,

5 августа 17.

С нами случилось нечто до того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, быть может, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо.

В прошлый понедельник (31 июля) мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя нам свободный проход. Положение наше стало опасным в особенности из-за густого тумана. Поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды.

Около двух часов дня туман рассеялся, и мы увидели простиравшиеся во все стороны обширные поля неровного льда, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон, да и сам я ощутил тревогу; но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле от нас мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу; в санях, управляя собаками, сидело существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами.

Это зрелище немало нас поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли; но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом, мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.

Часа через два после этого события мы услышали шум волн; к ночи лед вскрылся, и наш корабль был освобожден. Однако мы пролежали в дрейфе до утра, опасаясь столкнуться в темноте с огромными плавающими глыбами, которые появляются при вскрытии льда. Я воспользовался этими часами, чтобы отдохнуть.

Утром, едва рассвело, я поднялся на палубу и увидел, что все матросы столпились у борта, как видно, переговариваясь с кем-то, находившимся в море. Оказалось, что к кораблю на большой льдине прибило сани, похожие на виденные нами накануне. Из всей упряжки уцелела лишь одна собака, но в санях сидел человек, и матросы убеждали его подняться на борт. Это

не был туземец с некоего неведомого острова, каким нам показался первый путник; это был европеец. Когда я вышел на палубу, боцман сказал: «Вот идет наш капитан, и он не допустит, чтобы вы погибли в море».

Увидев меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иностранным акцентом. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, – сказал он, – я прошу сообщить мне, куда он направляется».

Нетрудно вообразить мое изумление, когда я услышал подобный вопрос от погибающего, который, казалось бы, должен был считать мое судно спасительным пристанищем, самым дорогим сокровищем в мире. Я ответил, однако, что мы исследователи и направляемся к Северному полюсу.

Это, по-видимому, удовлетворило его, и он согласился взойти на борт. Великий боже! Если бы ты только видела, Маргарет, человека, которого еще пришлось уговаривать спастись, твоему удивлению не было бы границ. Он был сильно обморожен и до крайности истощен усталостью и лишениями. Никогда я не видел человека в столь жалком состоянии. Мы сперва отнесли его в каюту, но там, лишенный свежего воздуха, он тотчас же потерял сознание. Поэтому мы снова принесли его на палубу и привели в чувство, растирая коньяком; несколько глотков мы влили ему в рот. Едва он подал признаки жизни, мы завернули его в одеяла и положили возле кухонной трубы. Мало-помалу он пришел в себя и съел немного супу, который сразу его подкрепил.

Прошло два дня, прежде чем он смог заговорить, и я уже опасался, что страдания лишили его рассудка. Когда он немного оправился, я велел перенести его ко мне в каюту и сам ухаживал за ним, насколько позволяли мне мои обязанности. Никогда я не встречал более интересного человека; обычно взгляд его дик и почти безумен; но стоит кому-нибудь ласково обратиться к нему или оказать самую пустячную услугу, как лицо его озаряется, точно лучом, благостной улыбкой, какой я ни у кого не видел. Однако большей частью он бывает мрачен и подавлен; а порой скрипит зубами, словно не может более выносить бремя своих страданий.

Когда мой гость немного оправился, мне стоило больших трудов удерживать матросов, которые жаждали расспросить его; я не мог допустить, чтобы его донимали праздным любопытством, когда тело и дух его явно нуждались в полном покое. Однажды мой помощник все же спросил его, как он проделал столь длинный путь по льду, да еще в таком необычном экипаже?

Лицо незнакомца тотчас омрачилось, и он ответил:

– Я преследовал беглеца.

– А беглец путешествует тем же способом?

– Да.

– В таком случае мне думается, что мы его видели; накануне того дня, когда мы вас подобрали, мы заметили на льду собачью упряжку, а в санях – человека.

Это заинтересовало незнакомца, и он задал нам множество вопросов относительно направления, каким отправился демон, как он его назвал. Немного погодя, оставшись со мной наедине, он сказал:

– Я наверняка возбудил ваше любопытство; как, впрочем, и любопытство этих славных людей, но вы слишком деликатны, чтобы меня расспрашивать.

– Разумеется; бесцеремонно и жестоко было бы докучать вам расспросами.

– Но ведь вы вызволили меня из весьма опасного положения и заботливо возвратили к жизни.

Затем он спросил, не могли ли те, другие сани погибнуть при вскрытии льда. Я ответил, что наверное этого знать нельзя, ибо лед вскрылся лишь около полуночи и путник мог к тому времени добраться до какого-либо безопасного места.

С тех пор в изнуренное тело незнакомца влились новые силы. Он непременно хотел находиться на палубе и следить, не появятся ли знакомые нам сани. Однако я убедил его оставаться в каюте, ибо он слишком слаб, чтобы переносить мороз. Я пообещал, что мы сами последим за этим и немедленно сообщим ему, как только заметим что-либо необычное.

Вот что записано в моем судовом журнале об этом удивительном событии. Здоровье незнакомца поправляется, но он очень молчалив и обнаруживает тревогу, если в каюту входит кто-либо, кроме меня. Впрочем, он так кроток и вежлив в обращении, что все матросы ему сочувствуют, хотя и очень мало с ним общаются. Что до меня, то я уже люблю его, как брата; его постоянная, глубокая печаль несказанно огорчает меня. В свои лучшие дни он, должно быть, был благородным созданием, если и сейчас, когда дух его сломлен, он так привлекает к себе.

В одном из писем, милая Маргарет, я писал тебе, что навряд ли обрету друга на океанских просторах; и, однако ж, я нашел человека, которого был бы счастлив иметь своим лучшим другом, если б только его не сломила горе.

Я продолжу свои записи о незнакомце, когда будет что записать.

13 августа 17.

Моя привязанность к гостю растет с каждым днем. Он возбуждает

одновременно безмерное восхищение и сострадание. Да и можно ли видеть столь благородного человека, сраженного бедами, не испытывая самой острой жалости? Он так кроток и, вместе, так мудр; он так широко образован; а когда говорит, речь его поражает и беглостью и свободой, хотя он выбирает слова с большой тщательностью.

Сейчас он вполне оправился от своего недуга и постоянно находится на палубе, видимо ожидая появления опередивших его саней. Хотя он и несчастен, но не настолько поглощен собственным горем, чтобы не проявлять живого интереса к нашим делам. Он нередко обсуждает их со мной, и я вполне ему доверился. Он внимательно выслушал все мои доводы в пользу моего предприятия и входит во все подробности принятых мною мер. Выказанное им участие подкупило меня, и я заговорил с ним языком сердца; высказал все, что переполняло мою душу, и горячо заверил его, что охотно пожертвовал бы состоянием, жизнью и всеми надеждами ради успеха задуманного дела. Одна человеческая жизнь – сходная цена за те познания, к которым я стремлюсь, за власть над исконными врагами человечества. При этих моих словах чело моего собеседника омрачилось. Сперва я заметил, что он пытается скрыть свое волнение: он закрыл глаза руками; но когда между его пальцев заструились слезы, а из груди вырвался стон, я не мог продолжать. Я умолк – а он заговорил прерывающимся голосом: «Несчастный! И ты, значит, одержим тем же безумием? И ты испил опьяняющего напитка? Так выслушай же меня; узнай мою повесть, и ты бросишь наземь чашу с ядом!»

Эти слова, как ты можешь себе представить, разожгли мое любопытство; но волнение, охватившее незнакомца, оказалось слишком сильным для его истощенного тела, и понадобились долгие часы отдыха и мирных бесед, прежде чем силы его восстановились.

Справившись со своими чувствами, он, казалось, презирал себя за то, что не совладал с собой. Преодолевая мрачное отчаяние, он вновь заговорил обо мне. Он пожелал услышать историю моей юности. Рассказ о ней не занял много времени, но навел нас на размышления. Я поведал ему, как страстно я желаю иметь друга, как жажду более близкого общения с родственной душою, чем до сих пор выпало мне на долю, и убежденно заявил, что без этого дара судьбы человек не может быть счастлив.

– Я с вами согласен, – отвечал незнакомец, – мы остаемся как бы незавершенными, пока некто более мудрый и достойный, чем мы сами, – а именно таким должен быть друг, – не поможет нам бороться с нашими слабостями и пороками. Я некогда имел друга, благороднейшего из людей, и потому способен судить о дружбе. У вас есть надежды, перед вами – весь

мир, и вам нечего отчаиваться. А вот я – я все утратил и не могу начать жизнь снова.

При этих словах лицо его выразило тяжкое, неизбывное горе, тронувшее меня до глубины сердца. Но он не произнес более ни слова и удалился в свою каюту.

Даже сломленный духом, он, как никто, умеет чувствовать красоту природы. Звездное небо, океан и все ландшафты этих удивительных мест еще имеют над ним силу и способны возвышать его над земным. Такой человек ведет как бы двойную жизнь: он может страдать и сгибаться под тяжестью пережитого; но, уходя в себя, он уподобляется небесному духу; его ограждает сияние, и в этот волшебный круг нет доступа горю и злу.

Быть может, восторг, с каким я описываю чудесного странника, вызовет у тебя улыбку. Но это лишь потому, что ты его не видела. Книги и уединение возвысили твою душу и сделали тебя требовательной; но ты тем более способна оценить необыкновенные достоинства этого удивительного человека. Иногда я пытаюсь понять, какое именно качество так возвышает его над любым человеком, доныне мне встречавшимся. Мне кажется, что это – некая интуиция, способность быстрого, но безошибочного суждения; необычайно ясное и точное проникновение в причины вещей; добавь к этому редкий дар красноречия и голос, богатый чарующими модуляциями.

19 августа 17.

Вчера незнакомец сказал мне:

– Вы, должно быть, догадываетесь, капитан Уолтон, что я перенес неслыханные бедствия. Когда-то я решил, что память о них умрет вместе со мной, но вы заставили меня изменить мое решение. Так же, как и я в свое время, вы стремитесь к истине и познанию, и я горячо желаю, чтобы достижение цели не обернулось для вас злою бедой, как это случилось со мною. Не знаю, принесет ли вам пользу рассказ о моих несчастьях, но, видя, что вы идете тем же путем, подвергаете себя тем же опасностям, которые довели меня до нынешнего моего состояния, я полагаю, что из моей повести вы сумеете извлечь мораль, и притом такую, которая послужит вам руководством в случае успеха и утешением в неудаче. Приготовьтесь услышать рассказ, который может показаться неправдоподобным. Будь мы в более привычной обстановке, я опасался бы встретить у вас недоверие, быть может, даже насмешку; но в этих загадочных и суровых краях кажется возможным многое такое, что вызывает смех у не посвященных в тайны природы; не сомневаюсь к тому же, что мое повествование включает в себе самое доказательство своей истинности.

Можешь вообразить, как я обрадовался его предложению; но я не мог допустить, чтобы рассказом о своих несчастьях он бередел свои раны. Мне не терпелось услышать обещанную повесть отчасти из любопытства, но также из сильнейшего желания помочь ему, если б это оказалось в моих силах. Все эти чувства я выразил в своем ответе.

– Благодарю вас за сочувствие, – ответил он, – но оно бесполезно; судьба моя свершилась. Я жду лишь одного события – и тогда обрету покой. Я понимаю ваши чувства, – продолжал он, заметив, что я собираюсь прервать его, – но вы ошибаетесь, друг мой, если мне позволено так называть вас; ничто не может изменить моей судьбы; выслушайте мой рассказ, и вы убедитесь, что она решена бесповоротно.

Свое повествование он пожелал начать на следующий день, в часы моего досуга. Я горячо поблагодарил его. Отныне каждый вечер, если не помешают мои обязанности, я буду записывать услышанное, стараясь как можно точнее придерживаться его слов. Если на это не хватит времени, я буду делать хотя бы краткие заметки. Эту рукопись ты, несомненно, прочтешь с интересом; но с еще большим интересом я когда-нибудь перечту ее сам, я, видевший его и слышавший повесть из собственных его уст! Вот и сейчас, когда я приступаю к записям, мне слышится его звучный голос, на меня печально и ласково глядят его блестящие глаза, я вижу выразительные движения его исхудалых рук и лицо, словно озаренное внутренним светом. Необычной и страшной была повесть его жизни; ужасна была буря, настигшая этот славный корабль и разбившая его.

Глава I

Я родился в Женеве; мои родные принадлежат к числу самых именитых граждан республики. Мои предки много лет были советниками и синдиками; отец также с честью отправлял ряд общественных должностей. Он пользовался уважением всех знавших его за честность и усердие на общественном поприще. Молодость его была всецело посвящена служению стране; некоторые обстоятельства помешали ему рано жениться, и он лишь на склоне лет стал супругом и отцом.

Обстоятельства его брака столь ярко рисуют его характер, что я должен о них поведать. Среди его ближайших друзей был один негоциант, который вследствие многочисленных неудач превратился из богатого человека в бедняка. Этот человек по фамилии Бофор обладал гордым и непреклонным нравом и не мог жить в нищете и забвении там, где прежде имел богатство и почет. Поэтому, честно расплатившись с кредиторами, он переехал со своей дочерью в Люцерн, где жил в бедности и уединении. Отец мой питал к Бофору самую преданную дружбу и был немало огорчен его отъездом при столь печальных обстоятельствах. Он горько сожалел о ложной гордости, подсказавшей его другу поступок, столь недостойный их дружбы. Он тотчас же принялся разыскивать Бофора, надеясь убедить его начать жизнь сначала и воспользоваться его поддержкой.

Бофор всячески постарался скрыть свое местопребывание, и отцу понадобилось целых десять месяцев, чтобы его отыскать. Обрадованный, он поспешил к его дому, находившемуся в убогой улочке вблизи Рейсса. Но там он увидел отчаяние и горе. После крушения Бофору удалось сохранить лишь небольшую сумму денег, достаточную, чтобы кое-как перебиться несколько месяцев; тем временем он надеялся получить работу в каком-нибудь торговом доме. Таким образом, первые месяцы прошли в бездействии. Горе его усугублялось, оттого что он имел время на размышления, и наконец так овладело им, что на исходе третьего месяца он слег и уже ничего не мог предпринять.

Дочь ухаживала за ним с нежной заботливостью, но в отчаянии видела, что их скудные запасы быстро тают, а других источников не предвиделось. Однако Каролина Бофор была натурой незаурядной, и мужество не оставило ее в несчастье. Она стала шить, плести из соломки, и ей удавалось зарабатывать жалкие гроши, едва достаточные для поддержания жизни.

Так прошло несколько месяцев. Отцу ее становилось все хуже; уход за ним отнимал у нее почти все время; добывать деньги стало труднее; а на десятом месяце отец скончался на ее руках, оставив ее сиротою и нищей. Последний удар сразил ее; горько рыдая, она упала на колени у гроба Бофора; в эту самую минуту в комнату вошел мой отец. Он явился к бедной девушке как добрый гений, и она отдалась под его покровительство. Похоронив своего друга, он отвез ее в Женеву, поручив заботам своей родственницы. Два года спустя Каролина стала его женой.

Между моими родителями была значительная разница в возрасте, но это обстоятельство, казалось, еще прочнее скрепляло их нежный союз. Отцу моему было свойственно чувство справедливости; он не мыслил себе любви без уважения. Должно быть, в молодые годы он перестрадал, слишком поздно узнав, что предмет его любви был ее недостоин, и потому особенно ценил душевные качества, проверенные тяжкими испытаниями. В его чувстве к моей матери было благоговение и признательность, отнюдь не похожие на слепую старческую влюбленность; они были внушены восхищением перед ее достоинствами и желанием хоть немного вознаградить ее за перенесенные бедствия, что придавало удивительное благородство его отношению к ней. Все в доме подчинялось ее желаниям. Он берег ее, как садовник бережет редкостный цветок от каждого дуновения ветра, и окружал всем, что могло приносить радость ее нежной душе. Пережитые беды расстроили ее здоровье и поколебали даже ее душевное равновесие. За два года, предшествовавшие их браку, отец постепенно сложил с себя все свои общественные обязанности; тотчас после свадьбы они отправились в Италию, где мягкий климат, перемена обстановки и новые впечатления, столь обильные в этой стране чудес, послужили ей укрепляющим средством.

Из Италии они поехали в Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и первые годы жизни сопровождал их в их странствиях. В течение нескольких лет я был их единственным ребенком. Как ни были они привязаны друг к другу, у них оставался еще неисчерпаемый запас любви, изливавшейся на меня. Нежные ласки матери, добрый взгляд и улыбки отца – таковы мои первые воспоминания. Я был их игрушкой и их божком, и еще лучше того – их ребенком, невинным и беспомощным созданием, посланным небесами, чтобы научить добру; они держали мою судьбу в своих руках, могли сделать счастливым или несчастным, смотря по тому, как они выполняют свой долг в отношении меня. При столь глубоком понимании своих обязанностей перед существом, которому они дали жизнь, при деятельной доброте, отличавшей их обоих, можно

представить себе, что, хотя я в младенчестве ежечасно получал уроки терпения, милосердия и сдержанности, мной руководили так мягко, что все казалось мне удовольствием.

Долгое время я был главным предметом их забот. Моей матери очень хотелось иметь дочь, но я оставался их единственным отпрыском. Когда мне было лет пять, мои родители во время поездки за пределы Италии провели неделю на берегу озера Комо. Их доброта часто приводила их в хижины бедняков. Для моей матери это было больше чем простым долгом; в память о собственных страданиях и избавлении от них для нее стало потребностью и страстью в свою очередь являться страждущим как ангел-хранитель. Во время одной из прогулок их внимание привлекла одна особенно убогая хижина в долине, где было множество оборванных детей и все говорило о крайней нищете. Однажды, когда отец отправился в Милан, мать посетила это жилище, взяв с собой и меня. Там оказался крестьянин с женой, согбенные трудом и заботами; они делили скудные крохи между пятью голодными детьми. Одна девочка обратила на себя внимание моей матери; она казалась существом какой-то иной породы. Четверо других были черноглазые, крепкие маленькие оборвыши; а эта девочка была тоненькая и белокурая. Волосы ее были словно из чистого золота и, несмотря на убогую одежду, венчали ее, как корона. У нее был чистый лоб, ясные синие глаза, а губы и все черты лица так прелестны и нежны, что всякому, видевшему ее, она казалась созданием особенным, сошедшим с небес и отмеченным печатью своего небесного рождения.

Заметив, что моя мать с удивлением и восторгом смотрит на прелестную девочку, крестьянка поспешила рассказать нам ее историю. Это было не их дитя, а дочь одного миланского дворянина. Мать ее была немкой; она умерла при ее рождении. Ребенка отдали крестьянке, чтобы выкормить грудью; тогда семья была не так бедна. Они поженились незадолго до того, и у них только что родился первенец. Отец их питомицы был одним из итальянцев, помнивших о древней славе Италии; одним из *schiavi ognor frementi*^[1], стремившихся добиться освобождения своей родины. Это его и погубило. Был ли он казнен или все еще томился в австрийской темнице – этого никто не знал. Имущество его было конфисковано, а дочь осталась сиротой и нищей. Она росла у своей кормилицы и расцветала в их бедном доме прекраснее, чем садовая роза среди темнолистого терновника.

Вернувшись из Милана, мой отец увидел в гостиной нашей виллы играющего со мной ребенка, более прелестного, чем херувим, – существо, словно излучавшее свет, а в движениях легкое, как горная серна. Ему

объяснили, в чем дело. Получив его разрешение, мать уговорила крестьян отдать ей их питомицу. Они любили прелестную сиротку. Ее присутствие казалось им небесным благословением, но жестоко было бы оставить ее в нужде, когда судьба посылала ей таких богатых покровителей. Они посоветовались с деревенским священником, и вот Элизабет Лавенца стала членом нашей семьи, моей сестрой и даже более – прекрасной и обожаемой подругой всех моих занятий и игр. Элизабет была общей любимицей. Я гордился горячей и почти благоговейной привязанностью, которую она внушала всем, и сам разделял ее. В день, когда она должна была переселиться в наш дом, моя мать шутливо сказала мне: «У меня есть для моего Виктора отличный подарок, завтра он его получит». Когда она наутро представила мне Элизабет в качестве обещанного подарка, я с детской серьезностью истолковал ее слова в буквальном смысле и стал считать Элизабет моей – порученной мне, чтобы я ее защищал, любил и лелеял. Все расточаемые ей похвалы я принимал как похвалы чему-то мне принадлежащему. Мы дружески звали друг друга кузеном и кузиной. Но никакое слово не могло бы выразить мое отношение к ней – она была мне ближе сестры и должна была стать моей навеки.

Глава II

Мы воспитывались вместе; разница в нашем возрасте была менее года, нечего и говорить, что ссоры и раздоры были нам чужды. В наших отношениях царила гармония, и самые различия в наших характерах только сближали нас. Элизабет была спокойнее и сдержаннее меня; зато я при всей моей необузданности обладал большим упорством в занятиях и неутолимой жаждой знаний. Ее пленяли воздушные замыслы поэтов; в величавых и роскошных пейзажах, окружавших наш швейцарский дом, – в волшебных очертаниях гор, в сменах времен года, в бурях и затишье, в безмолвии зимы и в неутомной жизни нашего альпийского лета, – она находила неисчерпаемый источник восхищения и радости. В то время как моя подруга сосредоточенно и удовлетворенно созерцала внешнюю красоту мира, я любил исследовать причины вещей. Мир представлялся мне тайной, которую я стремился постичь. В самом раннем детстве во мне проявлялись уже любознательность, упорное стремление узнать тайные законы природы и восторженная радость познания.

С рождением второго сына – спустя семь лет после меня – родители мои отказались от странствий и поселились на родине. У нас был дом в Женеве и дача на Бельрив, на восточном берегу озера, в расстоянии более лье от города. Мы обычно жили на даче; родители вели жизнь довольно уединенную. Мне также свойственно избегать толпы, но зато страстно привязываться к немногим. Я был поэтому равнодушен к школьным товарищам; однако с одним из них меня связывала самая тесная дружба. Анри Клерваль был сыном женевского негоцианта. Этот мальчик был наделен выдающимися талантами и живым воображением. Трудности, приключения и даже опасности влекли его сами по себе. Он был весьма начитан в рыцарских романах. Он сочинял героические поэмы и не раз начинал писать повести, полные фантастических и воинственных приключений. Он заставлял нас разыгрывать пьесы и устраивал переодевания; причем чаще всего мы изображали персонажей Ронсеваля, рыцарей Артура Круглого стола и воинов, проливших кровь за освобождение Гроба Господня из рук неверных.

Ни у кого на свете не было столь счастливого детства, как у меня. Родители мои были воплощением снисходительности и доброты. Мы видели в них не тиранов, капризно управлявших нашей судьбой, а дарителей бесчисленных радостей. Посещая другие семьи, я ясно видел,

какое редкое счастье выпало мне на долю, и признательность еще усиливала мою сыновнюю любовь.

Нрав у меня был необузданный, и страсти порой овладевали мной всецело; но так уж я был устроен, что этот пыл обращался не на детские забавы, а к познанию, причем не всего без разбора. Признаюсь, меня не привлекал ни строй различных языков, ни проблемы государственного и политического устройства. Я стремился познать тайны земли и неба; будь то внешняя оболочка вещей или внутренняя сущность природы и тайны человеческой души, мой интерес был сосредоточен на метафизических или – в высшем смысле этого слова – физических тайнах мира.

Клерваль, в отличие от меня, интересовался нравственными проблемами. Кипучая жизнь общества, людские поступки, доблестные деяния героев – вот что его занимало: его мечтой и надеждой было стать одним из тех отважных благодетелей человеческого рода, чьи имена сохраняются в анналах истории. Святая душа Элизабет озаряла наш мирный дом подобно алтарной лампаде. Вся любовь ее была обращена на нас; ее улыбка, нежный голос и небесный взор постоянно радовали нас и живили. В ней жил миротворный дух любви. Мои занятия могли бы сделать меня угрюмым, моя природная горячность – грубым, если бы ее не было рядом со мной, чтобы смягчать меня, передавая мне частицу своей кротости. А Клерваль? Казалось, ничто дурное не могло найти места в благородной душе Клерваля, но даже он едва ли был бы так человечен и великодушен, так полон доброты и заботливости при всем своем стремлении к опасным приключениям, если бы она не открыла ему красоту деятельного милосердия и не поставила добро высшей целью его честолюбия.

Я с наслаждением задерживаюсь на воспоминаниях детства, когда несчастья еще не омрачили мой дух и светлое стремление служить людям не сменилось мрачными думами, сосредоточенными на одном себе. К тому же, рисуя картины моего детства, я повествую о событиях, незаметно приведших к последующим бедствиям; ибо, желая проследить зарождение страсти, подчинившей себе впоследствии мою жизнь, я вижу, что она, подобно горной реке, возникла из ничтожных и почти невидимых источников; разрастаясь по пути, она стала потоком, унесшим все мои надежды и радости.

Естественные науки стали моей судьбой; поэтому в своей повести я хочу указать обстоятельства, которые заставили меня предпочесть их всем другим наукам. Однажды, когда мне было тринадцать лет, мы всей семьей отправились на купанье куда-то возле Тонона. Дурная погода на целый день

заперла нас в гостинице. Там я случайно обнаружил томик сочинений Корнелия Агриппы. Я открыл его равнодушно, но теория, которую он пытается доказать, и удивительные факты, о которых он повествует, скоро превратили равнодушие в энтузиазм. Меня словно озарил новый свет; я поспешил сообщить о своем открытии отцу. Тот небрежно взглянул на заглавный лист моей книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать даром времени; все это чепуха».

Если бы вместо этого отец дал себе труд объяснить мне, что положения Агриппы были в свое время полностью опровергнуты и заменены новой научной системой, более основательной, – ибо мощь старой была призрачной, тогда как новая имеет под собой твердую почву реальности, – я, несомненно, отшвырнул бы Агриппу и насытил свое разгоряченное воображение, с новым усердием обратившись к школьным занятиям. Возможно даже, что мысли мои не получили бы рокового толчка, направившего меня к гибели. Но беглый взгляд, который отец бросил на книгу, не убедил меня, что он знаком с ее содержанием, и я продолжал читать ее с величайшей жадностью.

Вернувшись домой, я первым делом постарался достать полное собрание сочинений этого автора, а затем Парацельса и Альберта Великого. Я с наслаждением погрузился в их безумные вымыслы; книги их казались мне сокровищами, мало кому ведомыми, кроме меня. Я уже говорил, что всегда был одержим страстным стремлением познать тайны природы. Несмотря на неусыпный труд и удивительные открытия современных ученых, изучение их книг всегда оставляло меня неудовлетворенным. Говорят, сэр Исаак Ньютон признался, что чувствует себя ребенком, собирающим ракушки на берегу великого и неведомого океана истины. Те его последователи во всех областях естествознания, с которыми я был знаком, даже мне, мальчишке, казались новичками, занятыми тем же делом.

Невежественный поселянин созерцал окружающие его стихии и на опыте узнавал их проявления. Но ведь и самый ученый из философов знал немногим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом Природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы и давать вещам названия; но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уже о первичной. Я увидел укрепления, преграждавшие человеку вход в цитадель природы, и в своем невежестве и нетерпении возроптал против них.

А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше. Я во всем поверил им на слово и сделался их учеником. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в восемнадцатом веке; но дело в том,

что, обучаясь в женевской школе, я по части моих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец мой не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе; страсть исследователя сочеталась у меня с неведением ребенка. Под руководством моих новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня и эликсира жизни; последний вскоре целиком завладел моим воображением. Богатство казалось мне вещью второстепенной; но какая слава ожидала меня, если б я нашел способ избавить человека от болезней и сделать его неуязвимым для любой смерти, кроме насильственной!

Я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы охотно обещали обучить заклинанию духов и нечистой силы; и мне этого страстно хотелось; если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал это собственной неопытности или ошибке, но не смел сомневаться в учености или точности моих наставников. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякий невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новое направление моим мыслям.

Когда мне пошел пятнадцатый год, мы переехали на нашу загородную дачу возле Бельрив и там стали свидетелями на редкость сильной грозы. Она пришла из-за горного хребта Юры; гром страшной силы загремел отовсюду сразу. Пока длилась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из мощного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось пламя, а когда исчез этот слепящий свет, исчез и дуб, и на месте его остался один лишь обугленный пень. Подойдя туда на следующее утро, мы увидели, что гроза разбила дерево необычным образом. Оно не просто раскололось от удара, но все расщепилось на узкие полосы. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения.

Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма, которые были для меня и новы и удивительны. Все рассказанное им отодвинуло на задний план властителей моих дум – Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса; но свержение этих идолов одновременно отбило у меня и охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не

стоящим внимания. Повинуясь одному из тех капризов, которые более свойственны ранней юности, я немедленно оставил свои занятия, объявил все отрасли естествознания бесплодными и проникся величайшим презрением к этой псевдонауке, которой не суждено даже переступить порога подлинного познания. В таком настроении духа я принялся за математику и смежные с нею науки, покоящиеся на прочном фундаменте, а потому достойные моего внимания.

Вот как странно устроен человек и какие тонкие грани отделяют нас от благополучия или гибели. Оглядываясь назад, я вижу, что эта почти чудом свершившаяся перемена склонностей была подсказана мне моим ангелом-хранителем; то была последняя попытка добрых сил отвести грозу, уже нависшую надо мной и готовую меня поглотить. Победа доброго начала сказалась в необыкновенном спокойствии и умиротворении, которые я обрел, отказавшись от прежних занятий, в последнее время ставших для меня мукой. Мне следовало бы тогда же почувствовать, что эти занятия для меня губительны и что мое спасение – в отказе от них.

Дух добра сделал все возможное, но тщетно. Рок был слишком могуществен, и его непреложные законы несли мне ужасную гибель.

Глава III

Когда я достиг семнадцати лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но, прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшее все дальнейшие.

Элизабет заболела скарлатиной: она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров; но, услышав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной – ее неусыпная забота победила злой недуг, – Элизабет была спасена, но ее спасительница поплатилась за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо; появились самые тревожные симптомы, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети, – сказала она, – я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами! Я была счастлива и любима – каково мне покидать вас... Но это – недостойные мысли; я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире».

Кончина ее была спокойной, и лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо: пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда, – что могло навеки угаснуть сиянье любимых глаз, навеки умолкнуть звуки знакомого, милого голоса. Таковы размышления первых дней; когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает наконец время, когда горе перестает быть неодолимым, его уже можно обуздывать; и, хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у

нас оставались обязанности, которые надо было выполнять; надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти.

Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кощунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался, и прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет.

Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, она забывала о своем.

Наконец день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив; но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции.

Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». Наконец оно было сказано, и мы разошлись якобы на покой; каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого; когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, все собрались снова: отец – чтобы еще раз благословить меня, Клерваль – чтобы еще пожать мою руку, моя Элизабет – чтобы повторить свои просьбы писать почаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским глазом.

Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и протекала всецело в домашнем кругу; это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля; это были

«милые, знакомые лица», и мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути; но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах; мне хотелось повидать свет и занять место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо.

Путь в Ингольштадт был долг и утомителен, и у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на мою одинокую квартиру, предоставив провести вечер, как мне заблагорассудится.

Наутро я вручил мои рекомендательные письма и сделал визиты некоторым из главных профессоров. Случай – а вернее, злой рок, Дух Гибели, взявший надо мною полную власть, едва я скрепя сердце покинул родительский кров, – привел меня сперва к господину Кремпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов с целью проэкзаменовать меня в различных областях естествознания. Я отвечал ему небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза: «И вы в самом деле тратили время на эту чепуху?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, – с жаром сказал господин Кремпе, – каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали, тысяча лет и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия».

Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман по другим дням недели будет читать лекции по химии.

Я возвратился к себе не то чтобы разочарованный, ибо я и сам, как я уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги; но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Г-н Кремпе был приземистый человечек с резким голосом и уродливой внешностью; таким образом, и личность профессора не расположила меня к его науке. В общем, так сказать, философском смысле

я уже говорил, к каким заключениям я пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царила полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства; я прошел вспять по пути науки и открытиям моих современников предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я чувствовал презрение к утилитарности современной науки. Иное дело, когда ученые искали секрет бессмертия и власти; то были великие, хотя и тщетные стремления; теперь же все обстояло иначе. Нынешний ученый, казалось, ограничивался задачей опровергнуть именно те видения, которые больше всего привлекали меня к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма мизерную реальность.

Так размышлял я в первые два-три дня по прибытии в Ингольштадт, которые я посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых г-ном Кремпе. Хотя я и не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человек, я вспомнил, что он говорил мне о г-не Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его не было в городе.

Частью из любопытства, а частью от нечего делать я пришел в аудиторию, куда вскоре явился г-н Вальдман. Этот профессор был очень непохож на своего коллегу. Ему было на вид лет пятьдесят, и лицо его выражало величайшую доброту; на висках волосы его начинали седеть, но на затылке были совершенно черные. Роста он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце изобразил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключение произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду.

— Прежние преподаватели этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не свершили ничего. Нынешние обещают очень мало; они знают, что превращение металлов немислимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тигелем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они подымаются в небеса; они узнали, как обращается в нашем теле кровь и из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть; они повелевают небесным громом, могут

воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру.

Таковы были слова профессора, вернее, слова судьбы, произнесенные на мою гибель. По мере того как он говорил, я чувствовал, что схватился наконец с достойным противником; он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною, и скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. Если столько уже сделано – восклицала душа Франкенштейна, – я сделаю больше, много больше; идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою не изведанные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы.

В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело; я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его навести. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, к которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельней, чем на кафедре; некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что уже рассказывал его коллеге. Он внимательно выслушал мою краткую повесть и улыбнулся при упоминании о Корнелии Агриппе и Парацельсе, однако без того презрения, какое обнаружил г-н Кремпе. Он сказал, что «неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую: дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные с их помощью. Труд гениев, даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества». Я выслушал эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, и сказал, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков; я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг.

– Я счастлив, – сказал г-н Вальдман, – что приобрел ученика, и если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется

ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике.

Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов; сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинулся в науке, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил, и я откланялся.

Так окончился этот памятный для меня день; он решил мою судьбу.

Глава IV

С того дня естествознание, и особенно химия, в самом широком смысле слова, стало почти единственным моим занятием. Я усердно читал талантливые и обстоятельные сочинения современных ученых. Я слушал лекции и знакомился с университетскими профессорами и даже в г-не Кремпе обнаружил немало здравого смысла и знаний, правда сочетавшихся с отталкивающей физиономией и манерами, но оттого не менее ценных. В лице г-на Вальдмана я обрел истинного друга. Его заботливость никогда не отзывала нравоучительностью; свои наставления он произносил с искренним добродушием, чуждым всякого педантизма. Он бесчисленными способами облегчал мне путь к знанию и самые сложные понятия умел сделать легкими и доступными. Мое прилежание, поначалу неустойчивое, постепенно окрепло, и вскоре я стал работать с таким рвением, что утренний свет, гасивший звезды, часто заставлял меня в лаборатории.

При таком упорстве я, разумеется, сделал большие успехи. Я поражал студентов своим усердием, а наставников – познаниями. Профессор Кремпе не раз с лукавой усмешкой спрашивал меня, как поживает Корнелий Агриппа, а г-н Вальдман выражал по поводу моих успехов самую искреннюю радость. Так прошло два года, и за это время я ни разу не побывал в Женеве, всецело предавшись занятиям, которые, как я надеялся, приведут меня к научным открытиям. Только те, кто испытал это, знают неодолимую притягательность научного исследования. Во всех прочих занятиях вы лишь идете путем, которым до вас прошли другие, ничего вам не оставив; тогда как здесь вы непрерывно что-то открываете и изумляетесь. Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний; поставив себе одну-единственную цель и полностью ей отдавшись, я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из теории и практики естествознания все, что могли мне дать ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места; но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте.

Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашивал я себя, таится жизненное начало? Вопрос смелый и всегда считавшийся

загадкой; но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и леность. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало; необходимо было наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не закрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суеверные рассказы, или страшился призраков. Боязнь темноты была мне неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые из обиталищ красоты и силы сделались добычей червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход этого разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело; я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота; я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни, как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет – столь ослепительный и вместе с тем ясный, что я, потрясенный открывшимися возможностями, мог только дивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну.

Напомню, что эта повесть – не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни; более того – я узнал, как самому оживлять безжизненную материю.

Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний – в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие было столь ошеломляющим, что ход мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из моей памяти, и я видел один лишь конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен. Нельзя сказать, что все открылось мне сразу, точно по волшебству; то, что я узнал, могло служить руководством к заветной цели; но сама цель еще не была достигнута. Я был подобен арабу, погребенному вместе с мертвецами и увидавшему выход из склепа при свете единственной слабо

мерцавшей свечи.

По вашим глазам, загоревшимся удивлением и надеждой, я вижу, что вы, мой друг, жаждете узнать открытую мной тайну; этого не будет – выслушайте меня терпеливо до конца, и вы поймете, почему на этот счет я храню молчание. Я не хочу, чтобы вы, неосторожный и пылкий, как я сам был тогда, шли на муки и верную гибель. Пускай не наставления, а мой собственный пример покажет вам, какие опасности таит в себе познание и насколько тот, для кого мир ограничен родным городом, счастливей того, кто хочет вознестись выше поставленных природой пределов.

Получив в свои руки безмерную власть, я долго раздумывал, как употребить ее наилучшим образом. Я знал, как оживить безжизненное тело, но составить такое тело, во всей сложности нервов, мускулов и сосудов, оставалось задачей невероятно трудной. Я колебался, создать ли себе подобного или же более простой организм; но успех вскружил мне голову, и я не сомневался, что сумею вдохнуть жизнь даже в существо столь удивительное и сложное, как человек. Материалы, бывшие в моем распоряжении, казались недостаточными для этой трудной задачи, но я не сомневался в конечном успехе. Я заранее приготовился к множеству трудностей; к тому, что помехи будут возникать непрестанно, а результат окажется несовершенным; но, памятуя о ежедневных достижениях техники и науки, я надеялся, что мои попытки хотя бы заложат основание для будущих успехов. Сложность и дерзость моего замысла также не казались мне доводом против него. С этими мыслями я приступил к сотворению человеческого существа. Поскольку сбор мельчайших частиц очень замедлил бы работу, я отступил от своего первоначального замысла и решил создать гиганта – около восьми футов ростом и соответственно мощного сложения. Приняв это решение и затратив несколько месяцев на сбор нужных материалов, я принялся за дело.

Никому не понять сложных чувств, увлекавших меня, подобно вихрю, в эти дни опьянения успехом. Мне первому предстояло преодолеть грань жизни и смерти и озарить наш темный мир ослепительным светом. Новая порода людей благословит меня как своего создателя; множество счастливых и совершенных существ будут обязаны мне своим рождением. Ни один отец не имеет столько прав на признательность ребенка, как буду иметь я. Раз я научился оживлять мертвую материю, рассуждал я, со временем (хотя сейчас это было для меня невозможно) я сумею также давать вторую жизнь телу, которое смерть уже обрекла на исчезновение.

Эти мысли поддерживали мой дух, пока я с неослабным рвением отдавался работе. Щеки мои побледнели, а тело исхудало от

затворнической жизни. Бывало, что я терпел неудачу на самом пороге успеха, но продолжал верить, что он может прийти в любой день и час. Тайна, которой владел я один, стала смыслом моей жизни, и ей я посвятил себя всецело. Ночами при свете месяца я неутомимо и неустанно выслеживал природу в самых сокровенных ее тайниках. Как рассказать об ужасах этих ночных бдений, когда я рылся в могильной плесени или терзал живых тварей ради оживления мертвой материи? Сейчас при воспоминании об этом я дрожу всем телом, а глаза мои застилает туман; но в ту пору какое-то безудержное исступление влекло меня вперед. Казалось, я утратил все чувства и видел лишь одну свою цель. То была временная одержимость; все чувства воскресли во мне с новой силой, едва она миновала, и я вернулся к прежнему образу жизни. Я собирал кости в склепах; я кощунственной рукой вторгался в сокровеннейшие уголки человеческого тела. Свою мастерскую я устроил в уединенной комнате, вернее, чердаке, отделенном от всех других помещений галереей и лестницей; иные подробности этой работы внушали мне такой ужас, что глаза мои едва не вылезали из орбит. Бойня и анатомический театр поставляли мне большую часть моих материалов; и я часто содрогался от отвращения, но, подгоняемый все возрастающим нетерпением, все же вел работу к концу.

За этой работой, поглотившей меня целиком, прошло все лето. В тот год лето стояло прекрасное: никогда поля не приносили более обильной жатвы, а виноградники – лучшего сбора; но красоты природы меня не трогали. Та же одержимость, которая делала меня равнодушным к внешнему миру, заставила меня позабыть и друзей, оставшихся так далеко и не виденных так давно. Я понимал, что мое молчание тревожит их, и помнил слова отца: «Знаю, что, пока ты доволен собой, ты будешь вспоминать нас с любовью и писать нам часто. Прости, если я сочту твое молчание признаком того, что ты пренебрег и другими своими обязанностями».

Таким образом, я знал, что должен был думать обо мне отец, и все же не мог оторваться от занятий, которые, как они ни были сами по себе отвратительны, захватили меня целиком. Я словно отложил все, что касалось моих привязанностей, до завершения великого труда, подчинившего себе все мое существо.

Я считал тогда, что отец несправедлив ко мне, объясняя мое молчание разгульной жизнью и ленью; но теперь я убежден, что он имел основания подозревать нечто дурное. Совершенный человек всегда должен сохранять спокойствие духа, не давая страсти или мимолетным желаниям

возмущать этот покой. Я полагаю, что и труд ученого не составляет исключения. Если ваши занятия ослабляют в вас привязанности или отвращают вас от простых и чистых радостей, значит, в этих занятиях наверняка есть нечто не подобающее человеку. Если бы это правило всегда соблюдалось и человек никогда не жертвовал бы любовью к близким ради чего бы то ни было, Греция не попала бы в рабство, Цезарь пощадил бы свою страну, освоение Америки было бы более постепенным, а государства Мексики и Перу не подверглись бы разрушению.

Однако я принялся рассуждать в самом интересном месте моей повести, и ваш взгляд призывает меня продолжать ее.

Отец в своих письмах не упрекал меня и только подробней, чем прежде, осведомлялся о моих занятиях. Прошли зима, весна и лето, пока я был занят своими трудами, но я не любовался цветами и свежими листьями, прежде всегда меня восхищавшими, – настолько я был поглощен работой. Листья успели увянуть, прежде чем я ее завершил; и теперь я с каждым днем убеждался в полном своем успехе. Однако к восторгу примешивалась и тревога, и я больше походил на раба, томящегося в рудниках или ином гиблом месте, чем на творца, занятого любимым делом. По ночам меня лихорадило, а нервы были болезненно напряжены; я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину; меня поддерживало только мое стремление к цели; труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения предотвратят начинающуюся болезнь; все это я обещал себе, как только работа будет окончена.

Глава V

Однажды ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем у моих ног. Был час пополуночи; дождь уныло стучал в оконное стекло; свеча почти догорела; и вот при ее неверном свете я увидел, как открылись тусклые желтые глаза; существо начало дышать и судорожно подергиваться.

Как описать мои чувства при этом ужасном зрелище, как изобразить несчастного, созданного мною с таким невероятным трудом? А между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые – боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы; волосы были черные, блестящие и длинные, а зубы белые как жемчуг; но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта.

Нет в жизни ничего переменчивее наших чувств. Почти два года я трудился с единственной целью – вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья. Я желал этого с исступленной страстью; а теперь, когда я окончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла, и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида своего творения, я кинулся вон из комнаты и долго шагал по своей спальне, чувствуя, что не смогу заснуть. Наконец мое волнение сменилось усталостью, и я, одетый, бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Но напрасно; мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар: прекрасная и цветущая Элизабет шла по улице Ингольштадта. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились, и вот уже я держу в объятиях труп моей матери; тело ее окутано саваном, и в его складках копошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся; на лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, и все тело свела судорога; и тут в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел гнусного уродца, сотворенного мной. Он приподнял полог кровати; глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Челюсти его двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку.

Он, кажется, говорил, но я не слышал; он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во

дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.

На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным; оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте.

Я провел ужасную ночь. Временами пульс мой бился так быстро и сильно, что я ощущал его в каждой артерии, а порой я готов был упасть от слабости. К моему ужасу примешивалась горечь разочарования; то, о чем я так долго мечтал, теперь превратилось в мучение; и как внезапно и непоправима была эта перемена!

Наконец забрезжил день, угрюмый и ненастный, и моим глазам, воспаленным от бессонницы, предстала ингольштадтская церковь с белым шпилем и часами, которые показывали шесть. Привратник открыл ворота двора, служившего мне в ту ночь прибежищем; я вышел на улицу и быстро зашагал, словно желая избежать встречи, которой боялся на каждом повороте. Я не решался вернуться к себе на квартиру; что-то гнало меня вперед, хотя я насквозь промок от дождя, лившего с мрачного черного неба.

Так я шел некоторое время, стремясь усиленным физическим движением облегчить душевную муку. Я проходил по улицам, не отдавая себе ясного отчета, где я и что делаю. Сердце мое трепетало от мучительного страха, и я шагал неровным шагом, не смея оглянуться назад.

Так одинокий пешеход,
Чье сердце страх гнетет,
Назад не смотрит и спешит,
И смотрит лишь вперед,
И знает, знает, что за ним
Ужасный враг идет^[2].

Незаметно я дошел до постоянного двора, куда обычно приезжали дилижансы и кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, и несколько минут смотрел на почтовую карету, показавшуюся в другом конце улицы. Когда она приблизилась, я увидел, что это был швейцарский дилижанс; он остановился прямо подле меня, дверцы открылись, и появился Анри

Клерваль, который, завидя меня, тотчас выскочил из экипажа.

– Милый Франкенштейн, – воскликнул он, – как я рад тебя видеть! Как удачно, что ты оказался здесь к моему приезду.

Ничто не могло сравниться с моей радостью при виде Клерваля; его появление напомнило мне об отце, Элизабет и милых радостях домашнего очага. Я сжал его руку и тотчас забыл свой ужас и свою беду, – впервые за много месяцев я ощутил светлую и безмятежную радость. Я сердечно приветствовал своего друга, и мы вместе направились к моему колледжу. Клерваль рассказывал о наших общих друзьях и радовался, что ему разрешили приехать в Ингольштадт.

– Ты можешь себе представить, – сказал он, – как трудно было убедить моего отца, что не все нужные человеку знания заключены в благородном искусстве бухгалтерии; думаю, что он так и не поверил мне до конца, ибо на мои неустанные просьбы каждый раз отвечал то же, что голландский учитель в «Векфильдском священнике»: «Мне платят десять тысяч флоринов в год – без греческого языка; я ем-пью без всякого греческого языка». Однако его любовь ко мне все же преодолела нелюбовь к наукам, и он разрешил мне предпринять путешествие в страну знания.

– Я безмерно рад тебя видеть, но скажи мне, как поживают мой отец, братья и Элизабет?

– Они здоровы, и все у них благополучно; их только беспокоит, что ты так редко им пишешь. Кстати, я сам хотел пробрать тебя за это. Но, дорогой мой Франкенштейн, – прибавил он, внезапно останавливаясь и вглядываясь в мое лицо, – я только сейчас заметил, что у тебя совершенно больной вид; ты худ и бледен и выглядишь так, точно не спал несколько ночей.

– Ты угадал. Я очень усердно занимался одним делом и мало отдыхал, как видишь; но я надеюсь, что теперь с этим покончено и я свободен.

Я весь дрожал; я не мог даже подумать, не то что рассказывать о событиях минувшей ночи. Я прибавил шагу, и мы скоро пришли к моему колледжу. Тут я сообразил – и мысль эта заставила меня содрогнуться, – что существо, оставшееся у меня на квартире, могло быть еще там. Я боялся увидеть чудовище, но еще больше боялся, что его может увидеть Анри. Попросив его подождать несколько минут внизу, я быстро избежал по лестнице. Моя рука потянулась уже к ручке двери, и только тут я опомнился. Я медлил войти; холодная дрожь пронизывала меня с головы до ног. Потом я резко распахнул дверь, как делают дети, ожидая увидеть привидение; за дверью никого не было. Я со страхом вошел в комнату, но она была пуста; ужасного гостя не было и в спальне. Я едва решался верить такому счастью, но, когда убедился, что мой враг действительно исчез, я

радостно всплеснул руками и побежал за Клервалем.

Мы поднялись ко мне в комнату, и скоро слуга принес туда завтрак; я не мог сдерживать свою радость. Да это и не было просто радостью – все мое тело трепетало от возбуждения, и пульс бился как бешеный. Я ни минуты не мог оставаться на месте; я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко хохотал. Клерваль сперва приписывал мое оживление радости нашего свидания, но, взглядевшись в меня внимательней, он заметил в моих глазах дикие искры безумия, а мой неудержимый, истерический хохот удивил и испугал его.

– Милый Виктор, – воскликнул он, – скажи, ради бога, что случилось? Не смейся так. Ведь ты болен. Что за причина всего этого?

– Не спрашивай, – вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшное существо проскользнуло в комнату, – он может рассказать... О, спаси меня, спаси! – Мне показалось, что чудовище схватило меня, я стал бешено отбиваться и в судорогах упал на пол.

Бедный Клерваль! Что он должен был почувствовать! Встреча, которой он ждал с такой радостью, обернулась бедой. Но я ничего этого не сознавал. Я был без памяти, и прошло много времени, прежде чем я пришел в себя.

То было начало нервной горячки, на несколько месяцев приковавшей меня к постели. Все это время Клерваль был единственной моей сиделкой. Я узнал впоследствии, что он, щадя старость моего отца, которому долгая дорога была бы не под силу, и зная, как моя болезнь огорчит Элизабет, скрыл от них серьезность моего положения. Он знал, что никто не сумеет ухаживать за мной внимательнее, чем он, и, твердо надеясь на мое выздоровление, не сомневался, что поступает по отношению к ним наилучшим образом.

В действительности же я был очень болен, и ничто, кроме неустанной самоотверженной заботы моего друга, не могло бы вернуть меня к жизни. Мне все время мерещилось сотворенное мною чудовище, и я без умолку им бредил. Мои слова, несомненно, удивляли Анри; сперва он счел их за бессмысленный бред; но упорство, с каким я возвращался все к той же теме, убедило его, что причиной моей болезни явилось некое страшное и необычайное событие.

Я поправлялся очень медленно – не раз повторные вспышки болезни пугали и огорчали моего друга. Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, осенявших мое окно, вместо осенних листьев были молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная, и это немало помогло моему выздоровлению. Я

чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость; моя мрачность исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда я еще не знал роковой страсти.

– Дорогой мой Клерваль, – воскликнул я, – ты бесконечно добр ко мне! Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем смогу я отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе; но ты меня простишь.

– Ты полностью отблаговаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться и постарайся поскорей поправиться; и раз ты так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой?

Я вздрогнул. Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать?

– Успокойся, – сказал Клерваль, заметив, что я переменялся в лице, – я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел, и встревожены твоим долгим молчанием.

– И это все, милый Анри? Как мог ты подумать, что моей первой мыслью не будет мысль о дорогих и близких людях, таких любимых и таких достойных любви.

– Если так, друг мой, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уже несколько дней тебя ожидает. Кажется, оно от твоей кузины.

Глава VI

И Клерваль протянул мне письмо. Оно было от моей Элизабет.

«Дорогой кузен! Ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено писать – даже держать перо, но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уже давно жду письма с каждой почтой и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Ингольштадт. Я не хочу, чтобы он подвергнулся неудобствам, быть может даже опасностям, столь долгого пути, но как часто я сожалела, что сама не могу его проделать! Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твои желания и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади; Клерваль пишет, что тебе лучше. Я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом.

Выздоровливай – и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодр и здоров, и ему нужно только одно – увидеть тебя, убедиться, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста! Ему уже шестнадцать, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска, но мы не в силах с ним расстаться, по крайней мере до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военной службы в чужих странах, но ведь у Эрнеста никогда не было твоего прилежания. Учение для него – тяжелое бремя; он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь.

С тех пор как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве что подросли наши милые дети. Синее озеро и снеговые горы не меняются; мне кажется, что наш мирный дом и безмятежные сердца живут по тем же незыблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды мне служат довольные и добрые лица окружающих.

Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жюстина Мориц. А может быть, и нет – поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю. Мать ее, госпожа Мориц, осталась вдовой с четырьмя детьми, из которых Жюстина была третьей. Эта девочка была любимицей отца; но мать по какой-то странной прихоти невзлюбила ее и после смерти г-на Морица

стала обращаться с ней очень скверно. Моя тетушка заметила это и, когда Жюстине было лет двенадцать, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны породил более простые и здоровые нравы, чем в окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положении общественных групп; низшие слои не находятся в такой бедности и презрении и поэтому более цивилизованны. В Женеве служанка – это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью, Жюстина взяла на себя обязанности служанки; но в нашей счастливой стране это положение не означает невежества или утраты человеческого достоинства.

Жюстина всегда была твоей любимицей; я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение; и объяснил это так же, как Ариосто, когда он описывает красоту Анжелики: уж очень мило ее открытое и сияющее лицо. Моя тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена сторицею; Жюстина оказалась самым благодарным созданием на свете; она не выражала свою признательность словами – этого я от нее никогда не слышала, но в ее глазах светилась благоговейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это была веселая и даже ветреная девушка, тетушку она слушалась во всем. Она видела в ней образец всех совершенств и старалась подражать ее речи и манерам, так что до сих пор часто напоминает мне ее.

Когда моя дорогая тетушка скончалась, все мы были слишком погружены в собственное горе, чтобы замечать бедняжку Жюстину, которая во время болезни ходила за ней с величайшей заботливостью. Жюстина сама потом тяжело заболела, но ей были уготованы еще и другие испытания.

Ее братья и сестра умерли один за другим, и мать ее осталась бездетной, если не считать дочери, которой она в свое время пренебрегала. Мать ощутила укоры совести и стала думать, что смерть любимых детей была ей карой за ее несправедливость. Она была католичкой, и ее духовник, как видно, утвердил ее в этой мысли. Вот почему спустя несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт раскаявшаяся мать призвала к себе Жюстину. Бедняжка! Она плакала, расставаясь с нами; со смертью тетушки она очень переменилась; горе смягчило ее, и вместо прежней живости в ней появилась подкупающая кротость. Пребывание под материнской кровлей также не могло вернуть ей веселость. Раскаяние ее матери было очень неустойчивым. Бывали дни, когда она просила Жюстину простить ей несправедливость, но чаще она обвиняла ее в смерти

братьев и сестры. Постоянное раздражение привело к болезни, а от этого нрав госпожи Мориц стал еще тяжелее; однако теперь она успокоилась навеки. Она умерла в начале прошлой зимы, с наступлением холодов. Жюстина возвратилась к нам, и я нежно люблю ее. Она очень умна, добра и очень хороша собой; как я уже сказала, многое в ее манере держаться и говорить постоянно напоминает мне мою дорогую тетюшку.

Надо рассказать тебе, дорогой кузен, и о нашем милом маленьком Уильяме. Вот бы тебе посмотреть на него! Для своих лет он очень рослый; у него смеющиеся синие глаза, темные ресницы и кудрявые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щеках появляются ямочки. У него уже было несколько маленьких «невест», но самая любимая из них – Луиза Бирон, хорошенькая пятилетняя девочка.

А теперь, милый Виктор, тебе наверняка хочется узнать новости о наших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу ее предстоящего брака с молодым англичанином, Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира г-на Дювилара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда Клерваля потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на хорошенькой и бойкой француженке г-же Тавернье. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников.

Описывая тебе все это, дорогой кузен, я и сама немного развлеклась, но теперь, кончая письмо, вновь ощущаю тревогу. Напиши нам, Виктор. Одна строчка, одно слово будет для нас радостью. Тысячу раз спасибо Анри за его доброту и заботу и за частые письма; мы благодарны ему от всей души. Прощай, милый кузен, береги себя и пиши, умоляю тебя!

Женева, 18 марта 17. Элизабет Лавенца».

– О милая Элизабет! – воскликнул я, прочтя письмо. – Надо сейчас же написать им и рассеять их тревогу.

Я написал домой; после этого я почувствовал сильную усталость; но выздоровление началось и пошло быстро. Спустя еще две недели я уже мог выходить.

Одной из первых моих забот по выздоровлении было представить Клерваля некоторым из университетских профессоров. При этом мне пришлось вынести немало неловких прикосновений, бередивших мою душевную рану. С той роковой ночи, когда завершились мои труды и начались мои бедствия, я проникся величайшим отвращением к самим словам «естественные науки». Даже когда я вполне оправился от болезни, вид химических приборов вновь вызывал мучительные симптомы нервного

расстройства. Анри заметил это и убрал подальше все мои инструменты. Он поместил меня в другую комнату, ибо видел, что мне стала неприятна моя бывшая лаборатория. Но все заботы Клерваля были сведены на нет, когда я навестил своих профессоров. Г-н Вальдман причинил мне истинную муку, принявшись горячо поздравлять меня с удивительными успехами в науках. Он вскоре заметил, что эта тема мне неприятна, но, не догадываясь об истинной причине, приписал это моей скромности и поспешил переменить разговор: вместо моих успехов он заговорил о самой науке, с явным желанием дать мне блеснуть. Что мне было делать? Думая сделать приятное, он терзал меня. Мне казалось, что он старательно демонстрирует одно за другим орудия пытки, чтобы затем предать меня медленной и мучительной смерти. Я корчился от его слов, не смея показать, как мне больно. Клерваль, неизменно внимательный к чувствам других, предложил переменить тему беседы, под предлогом своей неосведомленности в ней, и мы заговорили о предметах более общих. Я мысленно поблагодарил своего друга, но ничего ему не сказал. Я видел его недоумение, но он ни разу не попытался вывести мою тайну, а я, любя и безмерно уважая его, не решался сообщить ему о событии, которое так часто являлось моему воображению и которое я страшился оживить в памяти, рассказывая о нем другому.

С г-ном Кремпе мне пришлось труднее: при моей тогдашней чувствительности, обостренной до крайности, его грубоватые похвалы были для меня еще мучительнее, чем доброжелательность г-на Вальдмана. «Черт бы побрал этого парня! – воскликнул он. – Знаете ли, господин Клерваль, ведь он нас всех заткнул за пояс. Да, да, что вы на меня так уставились? Это сушая правда. Зеленый юнец, который еще недавно веровал в Корнелия Агриппу как в святое Евангелие, сейчас занял первое место. Если его не одернуть, он нас всех посрамит. Да, да, – продолжал он, заметив страдальческое выражение моего лица, – господин Франкенштейн у нас скромник – отличное качество в молодом человеке. Юноше положено быть скромным, господин Клерваль; в молодости я и сам был таков, да только этой скромности ненадолго хватает».

Тут г-н Кремпе принялся расхваливать себя самого и, к счастью, оставил столь неприятную для меня тему.

Клерваль никогда не сочувствовал моей склонности к естественным наукам; у него самого были совершенно иные, филологические интересы. В университет он приехал, чтобы овладеть восточными языками и таким образом подготовить себя к деятельности, о которой мечтал. Желая многого достичь, он обратил свои помыслы к Востоку, где открывался простор для

его предприимчивости. Его интересовали персидский, арабский и санскрит, и он без труда убедил меня заняться тем же. Праздность всегда меня тяготила, а теперь, возненавидев прежние свои занятия и стремясь отвлечься от размышлений, я нашел большое облегчение в этих общих уроках с моим другом; в сочинениях восточных авторов я открыл много и поучительного и приятного. В отличие от Клерваля, я не вдавался в научное изучение восточных языков, ибо не ставил себе иной цели, кроме временного развлечения. Я читал лишь ради содержания и был вознагражден за труды. Грусть у них успокоительна, а радость – возвышенна, более чем у писателей любой другой страны. Когда читаешь их творения, жизнь представляется солнечным сиянием, садом цветущих роз, улыбками и капризами прекрасной противницы и любовным огнем, сжигающим ваше сердце. Как это непохоже на мужественную и героическую поэзию Греции и Рима!

За этими занятиями прошло лето; поздней осенью я предполагал возвратиться в Женеву; но произошли некоторые задержки, а там пришла зима, выпал снег, дороги стали непроезжими, и мой отъезд был отложен до весны. Я крайне досадовал на это промедление, ибо мне не терпелось увидеть родные края и своих близких. Если вначале я задерживался, то лишь потому, что не хотел покинуть Клерваля в чужом городе, прежде чем он приобретет там друзей. Впрочем, зиму мы провели приятно; весна была необычайно поздней, но, когда пришла, ее прелесть искупила это запоздание. Наступил май, и я ежедневно ожидал письма, которое должно было назначить день моего отъезда; тут Анри предложил пешую прогулку по окрестностям Ингольштадта, чтобы я мог проститься с местами, где прожил так долго. Я с удовольствием согласился; я любил ходить, и в родных местах Клерваль был моим постоянным спутником в подобных экскурсиях.

В этих странствиях мы провели две недели; бодрость и здоровье к тому времени вернулись ко мне; чистый воздух, путевые впечатления и общение с другом еще более укрепили меня. Мои занятия отдалили меня от людей и сделали затворником; Клерваль пробудил во мне мои лучшие качества; он заново научил меня любить природу и радостные детские лица. Незабвенный друг! Как искренне ты любил меня, как возвышал меня до уровня собственной высокой души! Себялюбивые устремления принизили меня, но твоя забота и привязанность отогрели мое сердце. Я снова стал тем счастливецом, который всего лишь несколько лет назад всех любил, всеми был любим и не знал печали. Когда я бывал в хорошем расположении духа, природа являлась для меня источником

восхитительных ощущений. Ясное небо и зеленеющие поля наполняли меня восторгом. Весна в тот год и в самом деле была дивной; весенние цветы цвели на живых изгородях, летние готовились расцвести. Я наконец отдыхал от мыслей, угнетавших меня весь год, несмотря на все старания отогнать их.

Анри радовался моей веселости и искренне разделял мое настроение; он старался развлечь меня и одновременно выражал чувства, переполнявшие его самого. В те дни он был поистине неистощим. Иногда, подражая персидским и арабским писателям, он сочинял повести, исполненные воображения и страсти. А не то читал мои любимые стихи или заводил спор и весьма искусно его поддерживал.

Мы возвратились в колледж под вечер воскресного дня; крестьяне затевали пляски; повсюду нам встречались веселые и счастливые лица. Я и сам был в отличном расположении духа; ноги несли меня особенно легко, а сердце смеялось и ликовало.

Глава VII

Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца:

«Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которое назначит день твоего возвращения; и сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать день, когда мы тебя ожидаем. Но это малодушие было бы жестоко по отношению к тебе. Каково тебе будет вместо радостного приема, которого ты ждешь, встретить здесь горе и слезы! Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим радостям и бедам; а я вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно; ты уже, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести.

Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце своей улыбкой. Виктор! Его убили!

Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось.

В прошлый четверг (седьмого мая) я, моя племянница и оба твои брата отправились на прогулку в Пленпале. Вечер был теплый и тихий, и мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели на скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели ли мы его брата: они играли в прятки, Уильям побежал прятаться, он никак не мог его найти, а потом долго ждал, но тот так и не появился.

Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи; Элизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов, ибо я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в пять я нашел свое дорогое дитя; еще накануне здоровый и цветущий, он был распростерт на траве, бледный и недвижимый; на шее его отпечатались пальцы убийцы.

Его принесли домой; горе, написанное на моем лице, все объяснило Элизабет. Она захотела видеть тело; сперва я попытался помешать ей, но она настаивала; взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула: «Боже! Я погубила моего милого ребенка!»

Она потеряла сознание, и ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, она снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с

портретом матери. Вещица исчезла. Она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удастся, хотя мы и прилагаем все усилия; но это ведь не воскресит моего Уильяма!

Приезжай, дорогой Виктор; ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка; слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны, но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас. Бедная твоя мать! Увы, Виктор! Сейчас я благодарю бога, что она не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки.

Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растравляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя.

Женева, 12 мая 17. Твой убитый горем отец

Альфонс Франкенштейн».

Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо, с изумлением увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками.

– Дорогой Франкенштейн! – воскликнул Анри, видя мои горькие слезы. – Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?

Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал.

– Не могу утешать тебя, мой друг, – сказал он, – твое горе неутешно. Но что ты намерен делать?

– Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей.

По дороге Клерваль все же пытался утешить меня. Он сочувствовал мне всей душой.

– Бедный Уильям, – сказал он, – бедный милый ребенок! Он теперь покоится со своей праведницей матерью. Всякий, кто знал его во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно; ощутить на себе руки убийцы! Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного! Бедное дитя! Одним только можно утешиться: его близкие плачут о нем, но сам он уже отстрадал. Страшный миг позади, и он успокоился навеки. Его нежное тельце сокрыто в могиле; и он не чувствует боли. Ему уже не нужна жалость; сбережем ее для несчастных, которые его пережили.

Так говорил Клерваль, быстро идя со мной по улице. Слова его запечатлелись у меня в уме, и я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и

простился со своим другом.

Невеселое это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее утешить моих опечаленных близких, но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал места, знакомые с детства, но не виденные почти шесть лет. Как все должно было измениться за это время! Произошло одно неожиданное и страшное событие; а множество мелких обстоятельств могло привести и к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас, хотя я и не сумел бы их назвать.

В этом тяжелом состоянии духа я пробыл два дня в Лозанне. Я смотрел на озеро: воды его были спокойны, все вокруг тихо, и снеговые вершины, эти «дворцы природы», были все те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня, и я продолжал свой путь в Женеву.

Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался, как ребенок. «Милые горы! И ты, мое прекрасное озеро! Вот как вы встречаете странника! Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это – обещание покоя или насмешка над моими страданиями?»

Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей; но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О любимая родина! Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы, и особенно твое дивное озеро!

Однако, подъезжая к дому, я вновь оказался во власти горя и страха. Спускалась ночь; когда темные горы стали едва различимы, на душе у меня сделалось еще мрачнее. Все окружающее представилось мне огромной и темной ареной зла, и я смутно почувствовал, что мне суждено стать несчастнейшим из смертных. Увы! Предчувствия не обманули меня, и только в одном я ошибся: все воображаемые ужасы не составляли и сотой доли того, что мне суждено было испытать на деле.

Когда я подъехал к окрестностям Женевы, уже совсем стемнело. Городские ворота были заперты, и мне пришлось заночевать в Сешероне, деревушке, расположенной в полулье от города. Небо было ясное; я не мог уснуть и решил посетить место, где был убит мой бедный Уильям. Не имея возможности пройти через город, я добрался до Пленпале в лодке по озеру. Во время этого короткого переезда я увидел, как молнии чертили дивные

узоры вокруг вершины Монблана. Гроза быстро приближалась. Причалив, я поднялся на небольшой холм, чтобы ее наблюдать.

Она пришла; тучи заволокли небо; упали первые редкие и крупные капли, а потом хлынул ливень.

Я пошел дальше, хотя тьма и грозовые тучи сгущались, а гром гремел над самой моей головой. Ему вторило эхо Салэв, Юры и Савойских Альп; яркие вспышки молний ослепляли меня, озаряя озеро и превращая его в огромную пелену огня; потом все на миг погружалось в непроглядную тьму, пока глаз не привыкал к ней после слепящего света. Как это часто бывает в Швейцарии, гроза надвинулась со всех сторон сразу. Сильнее всего гремело к северу от города, над той частью озера, что лежит между мысом Бельрив и деревней Копэ. Слабые вспышки молний освещали Юру; а к востоку от озера то скрывалась во тьме, то озарялась островерхая гора Моль.

Наблюдая грозу, прекрасную и вместе страшную, я быстро шел вперед. Величественная битва, разыгравшаяся в небе, подняла мой дух. Я сжал руки и громко воскликнул: «Уильям, мой ангел! Вот твоё погребение, вот похоронный звон по тебе!» В этот миг я различил в темноте фигуру, выступившую из-за ближайших деревьев; я замер, пристально вглядываясь в нее; ошибки быть не могло. Сверкнувшая молния осветила фигуру, и я ясно ее увидел; гигантский рост и немыслимая для обычного человека уродливость говорили, что передо мной был мерзкий дьявол, которому я даровал жизнь. Что он здесь делал? Уж не он ли (я содрогнулся при одной мысли об этом) был убийцей моего брата? Едва эта догадка мелькнула в моей голове, как превратилась в уверенность; ноги у меня подкосились, и я вынужден был прислониться к дереву. Он быстро прошел мимо меня и затерялся во тьме. Никто из людей не способен был загубить прелестного ребенка. Убийцей мог быть только он! Я в этом не сомневался. Самая мысль об этом казалась неоспоримым доказательством.

Я хотел было погнаться за чудовищем; но это было бы напрасно; уже при следующей вспышке молнии я увидел, как он карабкается на почти отвесную скалистую гору Мон Салэв, которая замыкает Пленпале с юга. Скоро он добрался до вершины и исчез.

Я стоял не двигаясь. Гром стих, но дождь продолжался, и все было окутано тьмой. Я вновь мысленно переживал события, которые так старался забыть: все этапы моего открытия, появление оживленного мной существа у моей постели и его исчезновение. С той ночи, когда я оживил его, прошло почти два года. Быть может, это уже не первое его преступление? Горе мне! Я выпустил в мир чудовище, наслаждавшееся

убийством и кровью; разве не он убил моего брата?

Никому не понять, какие муки я претерпел в ту ночь; я провел ее под открытым небом, я промок и озяб. Но я даже не замечал ненастья. Ужас и отчаяние наполняли мою душу. Существо, которое я пустил жить среди людей, наделенное силой и стремлением творить зло, подобное только что содеянному преступлению, представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого.

Рассвело, и я направился в город. Ворота были открыты, и я поспешил к отцовскому дому. Первой моей мыслью было рассказать все, что мне известно об убийце, и немедленно снарядить погоню. Но, вспомнив, о чем мне пришлось бы поведать, я заколебался. Существо, которое я сам сотворил и наделил жизнью, повстречалось мне в полночь среди неприступных гор. Вспомнил я и нервную горячку, которую перенес как раз в то время, когда я его создал, и которая заставит считать горячечным бредом весь мой рассказ, и без того неправдоподобный. Если бы кто-нибудь другой рассказал мне подобную историю, я сам счел бы его за безумца. К тому же чудовище было способно уйти от любой погони, даже если бы родные поверили мне настолько, чтобы предпринять ее. Да и к чему была бы погоня? Кто мог поймать существо, взбиравшееся по отвесным скалам Мон Салэва? Эти соображения убедили меня; и я решил молчать.

Было около пяти утра, когда я вошел в отцовский дом. Я велел слугам никого не будить и прошел в библиотеку, чтобы там дожидаться обычного часа пробуждения семьи.

Прошло шесть лет – они прошли незаметно, как сон, не считая одной непоправимой утраты, – и вот я снова стоял на том самом месте, где в последний раз обнял отца, уезжая в Ингольштадт. Любимый и почтенный родитель! Он еще оставался мне. Я взглянул на портрет матери, стоявший на камине. Эта картина, написанная по заказу отца, изображала плачущую Каролину Бофор на коленях у гроба ее отца. Одежда ее была убога, щеки бледны, но она была исполнена такой красоты и достоинства, что жалость казалась едва ли уместной. Тут же стоял миниатюрный портрет Уильяма; взглянув на него, я залился слезами. В это время вошел Эрнест: он слышал, как я приехал, и поспешил мне навстречу. Он приветствовал меня с грустной радостью.

– Добро пожаловать, милый Виктор, – сказал он. – Ах, еще три месяца назад ты застал бы всех нас счастливыми. Сейчас ты приехал делить с нами безутешное горе. Все же я надеюсь, что твой приезд подбодрит отца; он тает на глазах. И ты сумеешь убедить бедную Элизабет не упрекать себя

понапрасну. Бедный Уильям! Это был наш любимец и наша гордость.

Слезы покатались из глаз моего брата, а во мне все сжалось от смертельной тоски. Прежде я лишь в воображении видел горе своих домашних; действительность оказалась не менее ужасной. Я попытался успокоить Эрнеста и стал расспрашивать его об отце и о той, которую я называл кузиной.

– Ей больше, чем нам всем, нужны утешения, – сказал Эрнест, – она считает себя причиной гибели брата, и это ее убивает. Но теперь, когда преступник обнаружен...

– Обнаружен? Боже! Возможно ли? Кто мог поймать его? Ведь это все равно что догнать ветер или соломинкой преградить горный поток. А кроме того, я его видел. Еще этой ночью он был на свободе.

– Не понимаю, о чем ты говоришь, – в недоумении ответил мой брат. – Нас это открытие совсем убило. Сперва никто не хотел верить. Элизабет – та не верит и до сих пор, несмотря на все улики. Да и кто бы мог подумать, что Жюстина Мориц, такая добрая, преданная нашей семье, могла совершить столь чудовищное преступление?

– Жюстина Мориц? Несчастливая! Так вот кого обвиняют? Но ведь это напраслина, и никто, конечно, этому не верит, не правда ли, Эрнест?

– Сначала не верили; но потом выяснились некоторые обстоятельства, которые поневоле заставляют поверить. Вдобавок к уликам она ведет себя так странно, что сомнений – увы! – не остается. Сегодня ее судят, и ты все услышишь сам.

Он сообщил мне, что в то утро, когда было обнаружено убийство бедного Уильяма, Жюстина внезапно заболела и несколько дней пролежала в постели. Пока она болела, одна из служанок взяла почистить платье, которое было на ней в ночь убийства, и нашла в кармане миниатюрный портрет моей матери, тот самый, что, по-видимому, соблазнил убийцу. Служанка немедленно показала его другой служанке, а та, ничего не сказав нам, отнесла его судье. На основании этой улики Жюстину взяли под стражу. Когда ей сказали, в чем ее обвиняют, несчастная своим крайним замешательством еще усилила подозрения.

Все это было очень странно, однако не поколебало моей убежденности, и я сказал:

– Вы все ошибаетесь; я знаю, кто убийца. Бедная добрая Жюстина невиновна.

В эту минуту в комнату вошел отец. Горе наложило на него глубокий отпечаток, но он бодрился ради встречи со мной. Грустно поздоровавшись, он хотел было заговорить на постороннюю тему, чтоб не касаться нашего

несчастья, но тут Эрнест воскликнул:

– Боже мой, папа! Виктор говорит, что знает, кто убил бедного Уильяма.

– К несчастью, и мы это знаем, – ответил отец. – А лучше бы навеки остаться в неведении, чем обнаружить такую испорченность и неблагодарность в человеке, которого ценил так высоко.

– Милый отец, вы заблуждаетесь. Жюстина невиновна.

– Если так, не дай бог, чтобы ее осудили. Суд будет сегодня, и я искренне надеюсь, что ее оправдают.

Эти слова меня успокоили. Я был твердо убежден, что ни Жюстина, ни кто-либо другой из людей не причастны к этому преступлению. Поэтому я не опасался, что найдутся косвенные улики, достаточно убедительные, чтобы ее осудить. Мои показания нельзя было оглашать; толпа сочла бы этот ужасный рассказ за бред безумца. Кто, кроме меня самого, его создателя, мог поверить, не видя собственными глазами, в это существо, которое я выпустил на свет как живое свидетельство моей самонадеянности и опрометчивости?

Скоро к нам вышла Элизабет. Время изменило ее с тех пор, как я видел ее в последний раз. Оно наделило ее красотой, несравнимой с ее прежней детской прелестью. Та же чистота и та же живость, но при всем том выражение, говорящее и об уме и о чувстве. Она встретила меня с нежной лаской.

– Твой приезд, милый кузен, – сказала она, – вселяет в меня надежду. Быть может, тебе удастся спасти бедную, ни в чем не повинную Жюстину. Если ее считать преступницей, кто из нас застрахован от такого же обвинения? Я убеждена в ее невинности, как в своей собственной. Наше несчастье тяжело нам вдвойне; мы не только потеряли нашего милого мальчика, но теряем и эту бедняжку, которую я искренне люблю и которой предстоит, пожалуй, еще худшая участь. Если ее осудят, мне никогда не знать больше радости. Но нет, я уверена, что этого не будет. И тогда я снова буду счастлива, даже после смерти моего маленького Уильяма.

– Она невиновна, Элизабет, – сказал я, – и это будет доказано. Не бойся ничего, бодрись и верь, что ее оправдают.

– Как ты великодушен и добр! Все поверили в ее виновность, и это меня терзает; ведь я-то знаю, что этого не может быть; но когда видишь, как все предрешено против нее, можно прийти в отчаяние.

Она заплакала.

– Милая племянница, – сказал отец, – осуши свои слезы. Если она не причастна к убийству, положишься на справедливость наших законов, а уж

я постараюсь, чтобы ее судили без малейшего пристрастия.

Глава VIII

Мы провели несколько печальных часов; в одиннадцать был назначен суд. Так как отец и остальные члены семьи должны были присутствовать на нем как свидетели, я вызвался сопровождать их. Пока длился этот фарс правосудия, я испытывал нестерпимые муки. В результате моего любопытства и недозволенных опытов оказывались приговоренными к смерти два человеческих существа: один из них был невинный, смеющийся ребенок; другого ожидала еще более ужасная смерть, сопряженная с позором и вечным клеймом злодейства. Жюстина была достойной девушкой, все сулило ей счастливую жизнь, а ее предадут позорной смерти – и виною этому буду я! Я тысячу раз предпочел бы сам взять на себя преступление, приписываемое Жюстине, но меня не было, когда оно совершилось; мое заявление было бы сочтено бредом безумного и не спасло бы ту, которая пострадала из-за меня.

Жюстина держалась достойно. Она была в трауре; ее лицо, вообще привлекательное, под влиянием скорби приобрело особую красоту. Она сохраняла спокойствие невинности и не дрожала, хотя тысячи глаз смотрели на нее с ненавистью; сочувствие, которое ее красота могла бы вызвать у присутствующих, пропадало при мысли о кошмарном преступлении, которое ей приписывали. Она была спокойна, но спокойствие явно стоило ей труда. Так как ее смятение с самого начала посчитали за доказательство вины, она старалась сохранить хотя бы подобие мужества. Войдя в зал суда, она окинула его взглядом и сразу же увидела нас. Слезы затуманили ей глаза, но она быстро овладела собой и посмотрела на нас с любовью и грустью, говорившими о ее невинности.

Суд начался; после речи обвинителя, который сформулировал обвинение, выступили несколько свидетелей. Странное стечение обстоятельств, говоривших против нее, поразило бы каждого, кто не имел, подобно мне, бесспорных доказательств ее непричастности. В ночь убийства она оказалась вне дома, а утром какая-то рыночная торговка видела ее недалеко от того места, где было позже обнаружено тело убитого ребенка. Женщина спросила ее, что она тут делает; но она как-то странно посмотрела на нее и пробормотала что-то невнятное. Домой она возвратилась около восьми часов и на вопрос, где она провела ночь, ответила, что ходила искать ребенка, а потом с тревогой спросила, нашелся ли он. Когда ей показали труп, с ней случился сильнейший истерический

припадок, и она на несколько дней слегла в постель. Теперь ей показали миниатюру, найденную служанкой в кармане ее платья; и когда Элизабет дрожащим голосом опознала в ней ту самую, которую она надела на шею ребенка за час до его исчезновения, по залу пронесся ропот негодования и ужаса.

Жюстину спросили, что она может сказать в свое оправдание. Пока шло разбирательство, она заметно переменилась. Теперь ее лицо выражало изумление и ужас. Временами она с трудом удерживалась от слез; но когда ей дали слово, она собрала все силы и заговорила внятно, хотя и срывающимся голосом.

– Видит бог, – сказала она, – я ни в чем не виновата; но я понимаю, что одних лишь моих заверений мало. Я хочу дать простое объяснение фактам, которые свидетельствуют против меня. Может быть, судьи, зная мою прежнюю жизнь, благожелательно истолкуют все, что сейчас кажется им подозрительным или странным.

Она рассказала, что с разрешения Элизабет провела вечер накануне убийства в доме своей тетки, в деревне Шэн, поблизости от Женевы. Возвращаясь оттуда около девяти часов, она встретила человека, спросившего у нее, не видела ли она пропавшего ребенка. Это ее очень встревожило, и она несколько часов искала его, а там городские ворота оказались закрытыми на ночь, и остаток ночи ей пришлось провести в сарае возле одного дома, где ее хорошо знали; но будить хозяев она постеснялась. Она почти не спала и только к утру, как видно, ненадолго уснула. Ее разбудили чьи-то шаги. Уже рассвело, и она вышла из своего убежища и снова принялась за поиски. Если она при этом оказалась вблизи места, где потом нашли тело, то это вышло случайно. Когда проходившая мимо торговка обратилась к ней с вопросами, она, должно быть, действительно казалась растерянной, но причиной была бессонная ночь и тревога за бедного Уильяма. О миниатюре она ничего сказать не могла.

– Я знаю, – продолжала несчастная, – что эта улика является для меня роковой, но объяснить ничего не сумею; могу только гадать, как она попала ко мне в карман. Но и тут я теряюсь. Насколько я знаю, врагов у меня нет; не может же быть, чтобы кто-нибудь захотел погубить меня просто так, из прихоти. Быть может, мне подбросил ее убийца? Но когда он успел это сделать? А если это он, зачем ему было похищать драгоценность, чтобы тут же с нею расстаться?

Я предаю себя в руки судей, хотя ни на что не надеюсь. Если можно, пусть опросят свидетелей, которые могли бы дать обо мне отзыв; если и после их показаний вы сочтете меня способной на такое злодейство, пусть

меня судят; но, клянусь спасением души, я невиновна.

Опросили нескольких свидетелей, знавших ее много лет; и они отозвались о ней хорошо, но выступали робко и неохотно – вероятно, из отвращения к ее предполагаемому преступлению. Видя, что последняя надежда обвиняемой – ее безупречная репутация – готова рухнуть, Элизабет, несмотря на крайнее волнение, попросила слова.

– Я прихожусь родственницей несчастному ребенку, – сказала она, – почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать. Но я вижу, что человек может погибнуть из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне выступить и сказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю. Я прожила с ней под одной кровлей пять лет подряд, а потом еще около двух лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти, с величайшей заботливостью и любовью; а потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжело; и это тоже она делала так, что вызывала восхищение всех, ее знавших. После этого она снова жила в доме моего дяди, где ее все любили. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему, как самая нежная мать. Я, не колеблясь, заявляю, что, несмотря на все улики против нее, я твердо верю в ее невинность. У нее не было никаких мотивов для преступления; а что касается вещицы, которая оказалась главной уликой, я охотно отдала бы ее ей, стоило ей пожелать, – так высоко я ее ценю и уважаю.

Простая и убедительная речь Элизабет вызвала шепот одобрения; однако одобрение относилось к ее великодушному заступничеству, но отнюдь не к бедной Жюстине, которую все возненавидели еще сильнее за такую черную неблагодарность. Во время речи Элизабет она плакала, но ничего не ответила. Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невинность подсудимой; я знал о ней. Неужели же дьявол, убивший моего брата (что это он, я ни минуты не сомневался), продлил свою адскую забаву и обрек несчастную позорной смерти? Я не в силах был долее выносить ужас моего положения; видя, что общее мнение уже осудило мою несчастную жертву и что к этому склоняются и судьи, я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой – ее поддерживало сознание невинности, меня же безжалостно терзали угрызения совести.

Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд; в горле и во рту у меня пересохло. Я не решался задать роковой вопрос; но меня там знали, и

судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось; Жюстину единогласно осудили на смерть.

Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти слова, чтобы его описать; но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жюстина созналась в своем преступлении. «Это подтверждение, – заметил он, – едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно; но все же я рад: никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески».

Это сообщение было неожиданно и странно: что же все это значит? Неужели мои глаза обманули меня? Или я и впрямь был тем безумцем, каким все сочли бы меня, если бы я объявил вслух, кого я подозреваю? Я поспешил домой; Элизабет с нетерпением ждала известий.

– Кузина, – сказал я, – все решилось именно так, как ты ожидала; судьи всегда предпочитают осудить десять невинных, лишь бы не помиловать одного виновного. Но она сама созналась.

Это было жестоким ударом для бедной Элизабет, твердо верившей в невинность Жюстины. «Увы, – сказала она, – как теперь верить доброму в людях? Жюстина, которую я любила, как сестру, как могла она носить личину невинности? Ее кроткий взгляд выражал одну доброту, а она оказалась убийцей».

Скоро мы услышали, что несчастная просит свидания с моей кузиной. Отец не хотел отпускать ее, однако предоставил решение ей самой. «Да, – сказала Элизабет, – я пойду, хоть она и виновна. Но и ты пойдешь со мной, Виктор. Одна я не могу». Мысль об этом свидании была для меня мучительна, но отказаться было нельзя.

Войдя в мрачную тюремную камеру, мы увидели Жюстину, сидевшую в дальнем углу на соломе; руки ее были скованы, голова низко опущена. При виде нас она встала, а когда нас оставили с нею наедине, она упала к ногам Элизабет, горько рыдая. Заплакала и моя кузина.

– Ах, Жюстина, – сказала она, – зачем ты лишила меня последнего утешения? Я верила в твою невинность, и, хотя очень горевала, мне все-таки было легче, чем сейчас.

– Неужели и вы считаете меня такой злодейкой? Неужели и вы, заодно с моими врагами, клеймите меня как убийцу? – Голос ее прервался рыданиями.

– Встань, моя бедная, – сказала Элизабет, – зачем ты стоишь на коленях, если ты невинна? Я тебе не враг. Я верила в твою невинность,

несмотря на все улики, пока не услышала, что ты сама во всем созналась. Значит, это ложный слух; поверь, милая Жюстина, ничто не может поколебать мою веру в тебя, кроме твоего собственного признания.

– Я действительно созналась, но только это неправда. Я созналась, чтобы получить отпущение грехов, а теперь эта ложь тяготит меня больше, чем все мои грехи. Да простит мне господь! После того как меня осудили, священник не отставал от меня. Он так страшно грозил мне, что я и сама начала считать себя чудовищем, каким он меня называл. Он грозился перед смертью отлучить меня от церкви и обречь адскому огню, если я стану запираюсь. Милая госпожа, ведь я здесь одна; все считают меня злодейкой, погубившей свою душу. Что же мне оставалось делать? В недобрый час я согласилась подтвердить ложь; с этого и начались мои мучения.

Она умолкла и заплакала, а потом добавила:

– Страшно было думать, добрая моя госпожа, что вы поверите этому, что будете считать вашу Жюстину, которую вы любили, которую так обласкала ваша тетюшка, способной на преступление, какое мог совершить разве что сам дьявол. Милый Уильям! Милый мой крошка! Скоро я свижусь с тобой на небесах, а там мы все будем счастливы. Этим я утешаюсь, хоть и осуждена на позорную казнь.

– О Жюстина! Прости, что я хоть на миг усомнилась в тебе. Напрасно ты созналась. Но не горюй, моя хорошая. И не бойся. Я всем скажу о твоей невинности, я докажу ее. Слезами и мольбами я смягчу каменные сердца твоих врагов. Ты не умрешь! Ты, подруга моего детства, моя сестра, и погибнешь на эшафоте? Нет, нет, я не переживу такого горя.

Жюстина печально покачала головой.

– Смерти я не боюсь, – сказала она, – этот страх уже позади. Господь сжалится над моей слабостью и пошлет мне силы все претерпеть. Я уйду из этой горькой жизни. Если вы будете помнить меня и знать, что я пострадала безвинно, я примирюсь со своей судьбой. Милая госпожа, мы должны покоряться божьей воле.

Во время их беседы я отошел в угол камеры, чтобы скрыть терзавшие меня муки. Отчаяние! Что вы знаете о нем? Даже несчастная жертва, которой наутро предстояло перейти страшный рубеж жизни и смерти, не чувствовала того, что я, – такого глубокого и безысходного ужаса. Я закричал зубами, я стиснул их, и у меня вырвался стон, исходивший из самой глубины души. Жюстина вздрогнула, услышав его. Узнав меня, она подошла ко мне и сказала:

– Вы очень добры, что навестили меня, сэр. Ведь вы не считаете меня убийцей?

Я не в силах был отвечать.

– Нет, Жюстина, – сказала Элизабет, – он больше верил в тебя, чем я; даже услышав, что ты созналась, он этому не поверил.

– Спасибо ему от души. В мой смертный час я благодарю всех, кто хорошо обо мне думает. Ведь для таких несчастных, как я, нет ничего дороже. От этого становится вдвое легче. Вы и ваш кузен, милая госпожа, признали мою невиновность – теперь можно умереть спокойно.

Так бедная страдальца старалась утешить других и самое себя. Она достигла желанного умиротворения. А я, истинный убийца, носил в груди грызущего червя, и не было для меня ни надежды, ни утешения. Элизабет тоже горевала и плакала; но и это были невинные слезы, горе, подобное тучке на светлом лице луны, которая затмевает его, но не пятнает. У меня же отчаяние проникло в самую глубину души; во мне горел адский пламень, который ничто не могло загасить. Мы пробыли с Жюстиной несколько часов; Элизабет была не в силах расстаться с ней.

– Я желала бы умереть с тобой! – воскликнула она. – Как жить в этом мире страданий?

Жюстина старалась бодриться, но с трудом удерживала горькие слезы. Она обняла Элизабет и сказала голосом, в котором звучало подавляемое волнение:

– Прощайте, милая госпожа, дорогая Элизабет, мой единственный и любимый друг. Да благословит и сохранит вас милосердный господь. Пусть это будет вашим последним горем! Живите, будьте счастливы и делайте счастливыми других.

На следующий день Жюстина рассталась с жизнью. Пылкое красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдальцы. Не вняли они и моим страстным и негодующим уверениям. Когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственные рассуждения, признание, уже готовое было вырваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца, но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертве. Она погибла на эшафоте как убийца!

Терзаясь сам, я видел и глубокое, безмолвное горе моей Элизабет. И это тоже из-за меня! Горе отца, траур в недавно счастливой семье – все было делом моих трижды проклятых рук! Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы! Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания! Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радости, если она не отражается в ваших любимых

глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, – это он заставляет вас рыдать – проливать бесконечные слезы; и не смеет даже надеяться, что неумолимый рок насытится этим и разрушение остановится прежде, чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий!

Так говорил во мне пророческий голос, когда, терзаемый муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах Уильяма и Жюстины, первых жертв моих проклятых опытов.

Глава IX

Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий мертвый покой бездействия – та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жюстина умерла; она обрела покой; а я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах, но сердце было сдавлено тоской и раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня, я бродил точно злой дух, ибо действительно свершил неслыханные злодеяния, и еще больше, гораздо больше (в этом я был уверен) предстояло мне впереди. А между тем душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами, я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло; утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед, я терзался раскаянием и сознанием вины, я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами.

Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того, первого удара. Я избегал людей; все, что говорило о радости и довольстве, было для меня мукой; моим единственным прибежищем было одиночество – глубокое, мрачное, подобное смерти.

Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены и с помощью доводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество и развеять нависшую надо мной мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, – сказал он однажды, – что мне легче, чем тебе? Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата (тут на глаза его навернулись слезы), но разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять их горя? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек не пригоден для жизни в обществе».

Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня; я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались горькие укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз.

К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Бельрив. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, ибо

ровно в десять городские ворота запирались и оставаться на озере после этого было нельзя. Теперь я был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парус и плыл по ветру; иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем и его нарушал один лишь я, не считая летучих мышей и лягушек, сипло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свое горе. Но меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил, для которой я так много значил. Я думал также об отце и втором брате; не мог же я подло покинуть их, беззащитных, оставив во власти злобного дьявола, которого сам на них напустил.

В такие минуты я горько плакал и молил бога вернуть мне душевный покой хотя бы для того, чтобы служить им опорой и утешением. Но это было недостижимо. Угрызения совести убивали во мне надежду. Я уже причинил непоправимое зло и жил в постоянном страхе, как бы созданный мною урод не сотворил нового злодеяния. Я смутно предчувствовал, что это еще не конец, что он совершит кошмарное преступление, перед которым померкнут прежние. Пока оставалось в живых хоть одно любимое мной существо, мне было чего страшиться. Моя ненависть к чудовищу не поддается описанию. При мысли о нем я скрежетал зубами, глаза мои горели, и я жаждал отнять у него жизнь, которую даровал ему так бездумно. Вспоминая его злобность и свершенные им злодеяния, я доходил до исступления в своей жажде мести. Я взобрался бы на высочайшую вершину Андов, если б мог низвергнуть его оттуда. Я хотел увидеть его, чтобы обрушить на него всю силу своей ненависти и отомстить за гибель Уильяма и Жюстины.

В нашем доме поселилась скорбь. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль; она уже не находила радости в домашних делах; ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых; что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не была уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе – из тех, что ниспосылаются нам, чтобы отлучить от земного, – уже посетило ее, и его мрачная тень погасила ее улыбку.

– Когда я думаю о страшной смерти Жюстины Мориц, – говорила она, – я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала или слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне

вымыслом и небылицей, во всяком случае, чем-то далеким и отвлеченным, а теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки, а если бы она действительно совершила преступление, за которое была казнена, то была бы гнуснейшей из злодеек. Ради нескольких драгоценных камней убить сына своих благодетелей и друзей, ребенка, которого она нянчила с самого рождения и, казалось, любила, как своего! Я никому не желаю смерти, но подобное существо я не считала бы возможным оставить жить среди людей. Только ведь она-то была невинна. Я это знаю, я это чувствую, и ты тоже, и это еще укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может так походить на правду, кто может поверить в счастье? Я словно ступаю по краю пропасти, а огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жюстина погибли, а убийца остался безнаказанным; он на свободе и, быть может, пользуется общим уважением. Но будь я даже приговорена к смерти за подобное преступление, я не поменялась бы местами с этим злодеем.

Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей – если не прямо, то косвенно – был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала:

– Успокойся, милый. Бог видит, как глубоко я горюю, но я не так несчастна, как ты. На твоем лице я читаю отчаяние, а порой – мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти. Помни о близких; ведь вся их надежда на тебя. Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим – пока мы верны друг другу, здесь, в стране красоты и покоя, твоим родным краем, нам доступны все мирные радости жизни, и что может нарушить наш покой?

Но даже эти слова из уст той, кто был для меня драгоценнейшим из даров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня.

Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемая для благих влияний. Я был подобен раненому оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзившую его стрелу.

Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаянья; но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчения мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких

приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние альпийские долины, чтобы созерцанием их вечного великолепия заставить себя забыть преходящие человеческие несчастья. Я решил добраться до Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло шесть лет; ничто не изменилось в этих суровых пейзажах – а что случилось *со мной*?

Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного на крутых горных тропах. Погода стояла отличная; была середина августа; прошло уже почти два месяца после казни Жюстины – после черных дней, с которых начались мои страдания. Угнетавшая меня тяжесть стала как будто легче, когда я углубился в ущелье Арвэ. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшейся по камням, грохот водопадов – все говорило о могуществе всевышнего, и я забывал страх, я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме все сильного создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем прекраснее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших сосной; бурная Арвэ; хижины, там и сям видные меж деревьев, – все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное великолепие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем, точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ.

Я переехал по мосту в Пелисье, где мне открылся вид на прорытое рекою ущелье, и стал подыматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамуни. Эта долина еще величавее, хотя менее живописна, чем долина Серво, которую я только что миновал. Ее тесно окружили высокие снежные горы; но здесь уже не увидишь старинных замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступали к самой дороге; я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружающих *aiguilles*^[3] высился царственный и великолепный Монблан; его исполинский купол господствовал над долиной.

Во время этой поездки меня не раз охватывало давно не испытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывающийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветер нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнскою лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапно очарование рассеивалось, я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям. Тогда я прищипоривал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего страха и от себя

самого, или спешивался и в отчаянии бросался ничком в траву, подавленный ужасом и тоской.

Наконец я добрался до деревни Шамуни. Здесь дало себя знать крайнее телесное и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, наблюдая бледные зарницы, полыхавшие над Монбланом, и слушая рокот Арвэ, продолжавшей внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убаюкали мою тревогу: сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку; я ощутил его приход и благословил дарителя забвения.

Глава X

Весь следующий день я бродил по долине. Я постоял у истоков Арвейрона, берущего начало от ледника, который медленно сползает с вершин, перегораживая долину. Передо мной высились крутые склоны гигантских гор; над головой нависала ледяная стена глетчера; вокруг были разбросаны обломки поверженных им сосен. Торжественное безмолвие этих тронных зал Природы нарушалось лишь шумом потока, а по временам – падением камня, грохотом снежной лавины или гулким треском скопившихся льдов, которые, подчиняясь каким-то особым законам, время от времени ломаются, точно хрупкие игрушки. Это великолепное зрелище давало мне величайшее утешение, какое я способен был воспринять. Оно подымало меня над мелкими чувствами, и если не могло развеять моего горя, то хотя бы умеряло и смягчало его. Оно отчасти отвлекало меня от мыслей, терзавших меня весь последний месяц. Когда я в ту ночь ложился спать, меня провожали ко сну все величавые образы, которые я созерцал днем. Все они сошлись у моего изголовья: и непорочные снежные вершины, и сверкающие льдом пики, и сосны, и скалистый каньон – все они окружили меня и сулили покой.

Но куда же они скрылись при моем пробуждении? Вместе со сном бежали прочь все восхитившие меня видения, и мою душу заволокло черной тоской. Дождь лил ручьями, вершины гор утонули в густом тумане, и я не мог уже видеть своих могучих друзей. Но я готов был проникнуть сквозь завесу тумана в их заоблачное уединение. Что мне дождь и ненастье? Мне привели моего мула, и я решил подняться на вершину Монтанвер. Я помнил, какое впечатление произвела на меня первая встреча с исполинским, вечно движущимся ледником. Она наполнила меня окрыляющим восторгом, вознесла мою душу из тьмы к свету и радости. Созерцание всего могучего и великого в природе всегда настраивало меня торжественно, заставляя забывать преходящие жизненные заботы. Я решил совершить восхождение без проводника, ибо хорошо знал дорогу, а присутствие постороннего только нарушило бы мрачное величие этих пустынных мест.

Склон горы очень крут, но тропа вьется спиралью, помогая одолеть крутизну. Кругом расстилается безлюдная и дикая местность. На каждом шагу встречаются следы зимних лавин: поверженные на землю деревья, то совсем расщепленные, то согнутые, опрокинутые на выступы скал или

поваленные друг на друга. По мере восхождения тропа все чаще пересекается заснеженными промоинами, по которым то и дело скатываются камни. Особенно опасна одна из них: достаточно малейшего сотрясения воздуха, одного громко произнесенного слова, чтобы обрушить гибель на говорящего. Сосны не отличаются здесь стройностью или пышностью; их мрачные силуэты еще больше подчеркивают суровость ландшафта. Я взглянул вниз, в долину; над потоком подымался туман; клубы его плотно окутывали соседние горы, скрывшие свои вершины в тучах; с темного неба лил дождь, завершая общее мрачное впечатление. Увы! Почему человек так гордится чувствами, возвышающими его над животными? Они лишь умножают число наших нужд. Если бы наши чувства ограничивались голодом, жаждой и похотью, мы были бы почти свободны; а сейчас мы подвластны каждому дуновению ветра, каждому случайному слову или воспоминанию, которое это слово в нас вызывает.

Мы можем спать – и мучиться во сне,
Мы можем встать – и пустяком терзаться,
Мы можем тосковать наедине,
Махнуть на все рукою, развлекаться, —
Всего проходит краткая пора,
И все возьмет таинственная чаща;
Сегодня не похоже на вчера,
И лишь Изменчивость непреходяща^[4].

Время близилось к полудню, когда я достиг вершины. Я немного посидел на скале, нависшей над ледяным морем. Как и окрестные горы, оно тоже тонуло в тумане. Но вскоре ветер рассеял туман, и я спустился на поверхность глетчера. Она очень неровна, подобна волнам беспокойного моря и прорезана глубокими трещинами; ширина ледяного поля составляет около лье, но, чтобы пересечь его, мне потребовалось почти два часа. На другом его краю гора обрывается отвесной стеной. Монтанвер теперь был напротив меня, в расстоянии одного лье, а над ним величаво возвышался Монблан. Я остановился в углублении скалы, любуясь несравненным видом. Ледяное море, вернее, широкая река вилась между гор; их светлые вершины нависали над ледяными заливами. Сверкающие снежные пики, выступая из облаков, горели в лучах солнца. Мое сердце, так долго страдавшее, ощутило нечто похожее на радость. Я воскликнул: «О души умерших! Если вы витаете здесь, а не покоитесь в тесных гробах, дайте

мне вкусить это подобие счастья или возьмите с собой, унесите от всех радостей жизни!»

В этот миг я увидел человека, приближавшегося ко мне с удивительной быстротой. Он перепрыгивал через трещины во льду, среди которых мне пришлось пробираться так осторожно; рост его вблизи оказался выше обычного человеческого роста. Я ощутил внезапную слабость, и в глазах у меня потемнело; но холодный горный ветер быстро привел меня в чувство. Когда человек приблизился, я узнал в нем (о, ненавистное зрелище!) сотворенного мной негодяя. Я задрожал от ярости, решив дождаться его и схватиться с ним насмерть. Он приблизился; его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение; при его сверхъестественной уродливости это было зрелище почти невыносимое для человеческих глаз. Но я едва заметил это; ненависть и ярость сперва лишили меня языка; придя в себя, я обрушил на него поток гневных и презрительных слов.

– Дьявол! – вскричал я. – Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет, постой, я сейчас растопчу тебя в прах! О, если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этим несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью!

– Я ждал такого приема, – сказал демон. – Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих! Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение, а ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня. Но как смеешь ты так играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня, тогда и я исполню свой – перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое, если же откажешься, я всласть напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких.

– Ненавистное чудовище! Дьявол во плоти! Муки ада недостаточны, чтобы искупить твои злодеяния. Проклятый! И ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал? Так подойди же ко мне, и я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно.

Гнев мой был беспределен; я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, какие могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого.

Он легко уклонился от моего удара и сказал:

– Успокойся! Заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, что ты хочешь

прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полная страданий, все же дорога мне, и я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил меня силой, превосходящей твою; я выше ростом и гибче в суставах. Но я не стану с тобой бороться. Я – твое создание и готов покорно служить своему господину, если и ты выполнишь свой долг передо мною. О Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был бы быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, и только мне оно не досталось. Я был кроток и добр; несчастья превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен.

– Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно; мы – враги. Прочь! Или давай померяемся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть.

– Как мне тронуть твое сердце? Неужели никакие мольбы не заставят тебя благосклонно взглянуть на твое создание, которое молит о жалости? Поверь, Франкенштейн, я был добр; душа моя горела любовью к людям; но ведь я одинок, одинок безмерно! Даже у тебя, моего создателя, я вызываю одно отвращение; чего же мне ждать от других людей, которые мне ничем не обязаны? Они меня гонят и ненавидят. Я нахожу убежище в пустынных горах, на угрюмых ледниках. Я брожу здесь уже много дней; ледяные пещеры, которые не страшны только мне, служат мне домом – единственным, откуда люди не могут меня изгнать. Я радуюсь этому мрачному небу, ибо оно добрее ко мне, чем твои братья-люди. Если бы большинство их знало о моем существовании, они поступили бы так же, как ты, и попытались уничтожить меня вооруженной рукой. Не мудрено, что я ненавижу тех, кому так ненавистен. Я не пойду на сделку с врагами. Раз я несчастен, пусть и они страдают. А между тем ты мог бы осчастливить меня и этим спасти их от бед – и каких бед! От тебя одного зависит, чтобы не только твои близкие, но тысячи других не погибли в водовороте моей ярости. Сжался надо мной и не гони меня прочь. Выслушай мою повесть, а тогда пожалей или оттолкни, если рассудишь, что я заслужил это. Даже по людским законам, как они ни жестоки, преступнику дают сказать слово в свою защиту, прежде чем осудить его. Выслушай же меня, Франкенштейн. Ты обвиняешь меня в убийстве, а сам со спокойной совестью готов убить тобою же созданное существо. Вот она, хваленая справедливость людей! Но я не прошу пощадить меня, а только выслушать. Потом, если сможешь, уничтожь творение собственных рук.

– Зачем, – сказал я, – напоминать мне события, злополучным виновником которых я признаю себя с содроганием? Да будет проклят день, когда ты впервые увидел свет, гнусное чудовище! И прокляты руки, создавшие тебя, пусть это были мои собственные! Ты причинил мне безмерное горе. Я уже не в силах решать, справедливо ли я с тобой поступаю. Поди прочь! Избавь меня от твоего ненавистного вида.

– Вот как я тебя избавлю от него, мой создатель, – сказал он, заслоняя мне глаза своими отвратительными руками, которые я тотчас же гневно оттолкнул. – И все же ты можешь выслушать и пожалеть меня. Прошу тебя об этом во имя добродетелей, которыми я некогда обладал. Выслушай мой рассказ; он будет долог и необычен, а здешний холод опасен для твоего хрупкого организма. Пойдем укроемся в горной хижине. Солнце еще высоко в небе; прежде чем оно опустится за те снежные вершины и осветит иные страны, ты все узнаешь, а тогда и рассудишь. От тебя зависит решить: удалиться ли мне навсегда от людей и никому не делать вреда или же сделаться бичом человечества и погубить прежде всего тебя самого.

С этими словами он зашагал по леднику; я последовал за ним. Я был слишком взволнован и ничего ему не ответил. Но, идя за ним, я обдумал все им сказанное и решил хотя бы выслушать его повесть. К этому меня побуждало отчасти любопытство, но отчасти и сострадание. Я считал его убийцей моего брата и хотел окончательно установить истину. Кроме того, я впервые осознал долг создателя перед своим творением и понял, что должен был обеспечить его счастье, прежде чем обвинять в злодеяниях. Это заставило меня согласиться на его просьбу. Мы пересекли ледяное поле и поднялись на противоположную скалистую гору. Было холодно, дождь возобновился; мы вошли в хижину. Демон – с ликующим видом, а я – глубоко подавленный. Но я приготовился слушать. Я уселся у огня, разведенного моим ненавистным спутником, и он так начал свой рассказ.

Глава XI

Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом: они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу: я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи, и все это одновременно. Понадобилось немало времени, прежде чем я научился различать ощущения. Помню, что сильный свет заставил меня закрыть глаза. Тогда меня окутала тьма, и я испугался; должно быть, я вновь открыл глаза, и снова стало светло. Я куда-то пошел, кажется, куда-то вниз, и тут в моих чувствах произошло прояснение. Сперва меня окружали темные, плотные предметы, недоступные зрению или осязанию. Теперь я обнаружил, что в состоянии продвигаться свободно, а каждое препятствие могу перешагнуть или обойти. Почувствовав утомление от яркого света и жары, я стал искать тенистого места. Так я оказался в лесу близ Ингольштадта; там я отдыхал у ручья, пока не ощутил голода и жажды. Они вывели меня из оцепенения. Я поел ягод, висевших на кустах и разбросанных по земле, и утолил жажду водой из ручья; после этого я лег и уснул.

Когда я проснулся, уже стемнело; я озяб и инстинктивно испугался одиночества. Еще у тебя в доме, ощутив холод, я накинул на себя кое-какую одежду, но она недостаточно защищала меня от ночной росы. Я был жалок, беспомощен и несчастен; я ничего не знал и не понимал, я лишь чувствовал, что страдаю, – и я заплакал.

Скоро небо озарилось мягким светом, и это меня обрадовало. Из-за деревьев вставало какое-то сияние. Я подивился ему. Оно восходило медленно, но уже освещало передо мной тропу, и я снова принялся искать ягоды. Мне было холодно, но под деревом я нашел чей-то плащ, закутался в него и сел на землю. В голове моей не было ясных мыслей; все было смутно. Я ощущал свет, голод, жажду, мрак; слух мой наполнился бесчисленными звуками, обоняние воспринимало множество запахов; единственное, что я различал ясно, был диск луны – и на него я устремил радостный взор.

Ночь не раз сменилась днем, а ясный диск заметно уменьшился, прежде чем я научился разбираться в своих ощущениях. Я начал узнавать поивший меня прозрачный ручей и деревья, укрывавшие меня своей тенью. Я с удовольствием обнаружил, что часто слышимые мной приятные звуки издавались маленькими крылатыми существами, которые то и дело

мелькали между мной и светом дня. Я стал яснее различать окружающие предметы и границы нависшего надо мной светлого купола. Иногда я безуспешно пытался подражать сладкому пению птиц. Я хотел по-своему выразить волновавшие меня чувства, но издаваемые мной резкие и дикие звуки пугали меня, и я умолкал.

Луна перестала всходить, потом появилась опять в уменьшенном виде, а я все еще жил в лесу. Теперь ощущения мои стали отчетливыми, а ум ежедневно обогащался новыми понятиями. Глаза привыкли к свету и научились правильно воспринимать предметы; я уже отличал насекомых от растений, а скоро и одни растения от других. Я обнаружил, что воробей издает одни только резкие звуки, а дрозд – нежные и приятные.

Однажды, мучимый холодом, я наткнулся на костер, оставленный какими-то бродягами, и с восхищением ощутил его тепло. Я радостно протянул руку к пылающим углям, но тотчас отдернул ее с криком. Как странно, подумал я, что одна и та же причина порождает противоположные следствия! Я стал разглядывать костер и, к своей радости, обнаружил, что там горят сучья. Я тотчас набрал веток, но они были сырые и не загорелись. Это огорчило меня, и я долго сидел, наблюдая за огнем. Сырые ветки, лежавшие у огня, подсохли и тоже загорелись. Я задумался; трогая то одни, то другие ветки, я понял, в чем дело, и набрал побольше дров, чтобы высушить их и обеспечить себя теплом. Когда наступила ночь и пора было спать, я очень боялся, как бы мой костер не погас. Я бережно укрыл его сухими сучьями и листьями, а сверху наложил сырых веток; затем, разостлав свой плащ, я улегся и заснул.

Утром первой моей заботой был костер. Я разрыл его, и легкий ветерок тотчас же раздул пламя. Я запомнил и это и смастерил из веток опахало, чтобы раздувать погасающие угли. Когда снова наступила ночь, я с удовольствием обнаружил, что костер дает не одно лишь тепло, но и свет, и что огонь годится для приготовления пищи; ибо оставленные путниками объедки были жареные и на вкус куда лучше ягод, которые я собирал с кустов. Я попробовал готовить себе пищу тем же способом и положил ее на горячие угли. Оказалось, что ягоды от этого портятся, зато орехи и корни становятся гораздо вкуснее.

Впрочем, добывать пищу становилось трудней; и я иной раз тратил целый день на поиски горсти желудей, чтобы хоть немного утолить голод. Поняв это, я решил перебраться в другие места, где мне легче было бы удовлетворять мои скромные потребности. Но, задумав переселение, я печалился об огне, который нашел случайно и не знал, как зажечь самому. Я размышлял над этим несколько часов, но ничего не придумал.

Завернувшись в плащ, я зашагал по лесу, вслед заходящему солнцу. Так я брел три дня, пока не вышел на открытое место. Накануне выпало много снега, и поля скрылись под ровной белой пеленой; это зрелище навело на меня грусть, а ноги мерзли на холодном, влажном веществе, покрывавшем землю.

Было, должно быть, часов семь утра, и я тосковал по пище и крову. Наконец я заметил на пригорке хижину, вероятно выстроенную для пастухов. Такого строения я еще не видел, и я с любопытством осмотрел его. Дверь оказалась незапертой, и я вошел внутрь. Возле огня сидел старик и готовил себе пищу. Он обернулся на шум; увидев меня, он громко закричал и, выскочив из хижины, бросился бежать через поле с такой быстротой, на какую его дряхлое тело казалось неспособным. Его облик, непохожий на все виденное мной до тех пор, и его бегство удивили меня. Зато хижина привела меня в восхищение; сюда не проникали снег и дождь; пол был сухой; словом, хижина показалась мне тем роскошным дворцом, каким был Пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере. Я с жадностью проглотил остатки трапезы пастуха, состоявшей из хлеба, сыра, молока и вина; последнее, впрочем, не пришлось мне по вкусу. Затем, ощутив усталость, я лег на кучу соломы и заснул.

Проснулся я уже в полдень; обрадовавшись солнцу и снегу, сверкавшему под его лучами, я решил продолжать свой путь; положив остатки пастушьего завтрака в суму, которую я нашел тут же, я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом! Я поочередно восхищался и хижинами, и более богатыми домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел; но не успел я переступить порог, как дети закричали, а одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню; кто пустился бежать, а кто бросился на меня; израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой после дворцов, виденных мной в деревне. Правда, лачуга примыкала к чистенькому домику; но после недавнего горького опыта я не решился туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом уместился в нем сидя. Пол был не дощатый, а земляной, но сухой; и хотя ветер дул в бесчисленные щели, мне, после снега и дождя, показалось здесь хорошо.

Тут я и укрылся, счастливый уже тем, что нашел пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы, но прежде всего от людской жестокости.

Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома; к ней примыкал свиной закут и небольшой бочаг с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я и проник; но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками, однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти; свет проникал ко мне только из свиного хлева, но этого мне было довольно.

Устроившись в своем жилище и устлав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался какой-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день: украл кусок хлеба и черпак, которым удобнее, чем горстью, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка приподнят, а потому сух; близость печи, топившейся в доме, давала немного тепла.

Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачужке, пока какие-либо новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу, на сырой земле, под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай. Я с удовольствием поел и собрался отодвинуть одну из досок, чтобы зачерпнуть воды, как вдруг услышал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это было совсем юное и кроткое на вид создание, непохожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно – в грубую синюю юбку и полотняную кофту; светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены; лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова; теперь ее ведро было до половины налито молоком. Пока она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним, и они оба скрылись. Позднее я снова увидел юношу; он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия; видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе.

Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, теперь забитое досками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу, около огня, сидел старик, опустив голову на руки в позе глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату; потом она вынула из ящика какую-то

работу и села рядом со стариком; а тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки более сладостные, чем пение дрозда или соловья.

Это было прелестное зрелище, и его оценил даже я, жалкое существо, не выдавшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца вызвали во мне уважение, а кротость девушки – нежную любовь. Он играл красивую и грустную мелодию, которая вызвала слезы на глаза прекрасной слушательницы; он, однако, не замечал их, пока они не перешли в рыдания; тогда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделье, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь с такой добротой и любовью, что я ощутил сильное и новое для меня волнение; в нем смешивались радость и боль, прежде не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи; и я отошел от окна, не в силах выносить этого дольше.

Вскоре вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ноши и, взяв часть дров, подложила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторону, и он достал большой хлеб и кусок сыра. Это ее, видимо, обрадовало; принесся из огорода какие-то коренья и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взялась за свое рукоделье, а юноша ушел в огород и принялся выкапывать коренья. Когда он проработал так примерно с час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом.

Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечо юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар, с серебряной сединой и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь; другой, молодой, был строен и гибок, и черты его отличались необычайной правильностью; правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудия, но иные, чем утром, отправился в поле.

Скоро стемнело, но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи; я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял; а старик снова взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром. Когда он кончил, юноша начал издавать какие-то монотонные звуки, непохожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц; впоследствии я

обнаружил, что он читал вслух, но тогда я не имел еще понятия о письменности.

Проведя некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет и, как я понял, улеглось спать.

Глава XII

Я лежал на соломе, но долго не мог уснуть. Я размышлял над впечатлениями дня. Более всего меня поразили кроткий вид этих людей; я тянулся к ним и вместе с тем боялся их. Слишком хорошо запомнился мне прием, который оказали мне накануне жестокие поселяне; я не знал еще, что предприму в дальнейшем, но пока решил потихоньку наблюдать за ними из своего укрытия, чтобы лучше понять мотивы их поведения.

Утром обитатели хижины поднялись раньше солнца. Девушка принялась убирать и готовить пищу, а юноша сразу же после завтрака ушел из дому.

Этот день прошел у них в тех же занятиях, что и предыдущий. Юноша неустанно трудился в поле, а девушка – в доме. Старик, который, как я вскоре обнаружил, был слеп, проводил время за игрой на своем инструменте или в раздумьях. Ничто не могло сравниться с любовью и уважением, которые молодые поселяне выражали своему почтенному сожителю. Они оказывали ему бесчисленные знаки внимания, а он награждал их ласковыми улыбками.

И все же они не были вполне счастливы. Юноша и девушка часто уединялись и плакали. Я не мог понять причины их горя, но оно меня глубоко печалило. Если страдают даже такие прекрасные создания, я уже не удивлялся тому, что несчастен я – жалкий и одинокий. Но почему несчастны эти кроткие люди? У них отличный дом (таким, по крайней мере, он мне казался) и всяческая роскошь: огонь, чтобы согреться в стужу, вкусная пища для утоления голода и отличная одежда; но главное – общество друг друга, ежедневные беседы, обмен ласковыми и нежными взглядами. Что же означали их слезы? И действительно ли они выражали страдание? Вначале я не в силах был разрешить эти вопросы, но время и неустанное наблюдение объяснили мне многое, прежде казавшееся загадкой.

Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи: то была бедность; они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которая зимой почти не доилась, так как хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода, особенно молодые; бывало, что они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя.

Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал у них часть

запасов, но, убедившись, что это им в ущерб, я перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и кореньями, которые собирал в соседнем лесу.

Я нашел также способ помогать им. Оказалось, что юноша проводит большую часть дня, заготавливая дрова для дома; и вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней.

Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов; подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его за домашними делами и в огороде.

Затем я сделал еще более важное открытие. Я понял, что эти люди умеют сообщать друг другу свои мысли и чувства с помощью членораздельных звуков. Я заметил, что произносимые ими слова вызывают радость или печаль, улыбку или огорчение на лицах слушателей. Это была наука богов, и я страстно захотел овладеть ею. Но все мои попытки кончались неудачей. Они говорили быстро, и слова их не были связаны ни с какими видимыми предметами, так что у меня не было ключа к тайне. Однако, прожив в моей лачуге несколько лунных месяцев и приложив много стараний, я узнал названия некоторых, наиболее часто упоминавшихся предметов: *огонь, молоко, хлеб, дрова*. Узнал я и имена обитателей дома. Юноша и девушка имели их по несколько, а старик только одно – *отец*. Девушку называли то *сестра*, то *Агата*, а юношу – *Феликс, брат* или *сын*. Не могу описать восторг, с каким я постигал значение всех этих сочетаний звуков и учился их произносить. Я запомнил и некоторые другие слова, еще не понимая, что они значат: *хороший, милый, несчастный*.

Так прошла для меня зима. Кротость и красота обитателей хижины привязали меня к ним: когда они грустили, я бывал подавлен; когда радовались, я радовался вместе с ними. Кроме них, я почти не видел людей, а когда они появлялись в хижине, их грубые голоса и ухватки только подчеркивали в моих глазах превосходство моих друзей. Я заметил, что старик часто уговаривал своих детей, как он их называл, не предаваться печали. Он говорил с ними бодро и с такой добротой, которая трогала даже меня. Агата почтительно выслушивала его; иногда на глаза ее навертывались слезы, которые она старалась незаметно смахнуть, но все же после увещаний отца она обычно становилась веселее. Не так было с Феликсом. Он казался всех печальнее, и даже моему неопытному взгляду

было заметно, что он перестрадал больше всех. Но если лицо его выражало больше грусти, то голос звучал еще бодрее, чем у сестры, особенно когда он обращался к старику.

Я мог бы привести множество примеров, пусть незначительных, но весьма характерных для этих достойных людей.

Живя в нужде, Феликс тем не менее спешил порадовать сестру первым белым цветочком, появлявшимся из-под снега. Каждое утро, пока она еще спала, он расчищал ей тропинку к коровнику, приносил воды из колодца и дров из сарая, где, к его удивлению, дровяные запасы непрерывно пополнялись чьей-то невидимой рукой. Днем он, очевидно, иногда работал на соседнего фермера, ибо часто уходил до самого обеда, а дров с собой не приносил. Бывало, что он работал на огороде, но зимой такой работы было мало, и он читал вслух старику и Агате.

Это чтение сперва приводило меня в крайнее недоумение, но постепенно я стал замечать, что, читая, он часто произносит те же сочетания звуков, что и в разговоре. Я заключил из этого, что на страницах книги он видит понятные ему знаки, которые можно произнести, и я жаждал их постичь, но как – если я не понимал даже звуков, которые эти знаки обозначали? В этой последней науке я, правда, продвинулся, хоть и не настолько, чтобы понимать их речь целиком, и продолжал стараться изо всех сил; несмотря на мое горячее желание показаться им, я понимал, что мне не следует этого делать, пока я не овладею их языком, и они за это, быть может, простят мне мое уродство; последнее я тоже осознал по контрасту, постоянно бывшему у меня перед глазами.

Я любовался красотой обитателей хижины – их грацией и нежным цветом лица; но как ужаснулся я, когда увидел свое собственное отражение в прозрачной воде! Сперва я отпрянул, не веря, что зеркальная поверхность отражает именно меня, а когда понял, как я уродлив, сердце мое наполнилось горькой тоской и обидой. Увы! Я еще не вполне понимал роковые последствия своего уродства.

Солнце пригревало сильнее, день удлинился, снег сошел, обнажив деревья и черную землю. У Феликса прибавилось работы, и страшная угроза голода исчезла. Их пища, хоть и грубая, была здоровой, и теперь ее было достаточно. В огороде появились новые растения, которые они употребляли в пищу; и с каждым днем их становилось больше.

Ежедневно в полдень старик выходил на прогулку, опираясь на плечо сына, если только не шел дождь, – так, оказывается, назывались потоки воды, изливавшиеся с небес. Это бывало нередко, но ветер скоро осушал землю, и погода становилась еще лучше.

Я вел в своем укрытии однообразную жизнь. Утром я наблюдал обитателей хижины; когда они расходились по своим делам, я спал; остаток дня я снова посвящал наблюдению за моими друзьями. Когда они ложились спать, а ночь была лунная или звездная, я отправлялся в лес добывать пищу для себя и дрова для них. На обратном пути, если было нужно, я расчищал тропинку от снега или выполнял за Феликса другие его обязанности. Работа, сделанная невидимой рукой, очень удивляла их; в таких случаях я слышал слова *добрый дух* и *чудо*, но тогда я еще не понимал их смысла.

Я научился мыслить и жаждал побольше узнать о чувствах и побуждениях милых мне существ. Мне не терпелось знать, отчего тоскует Феликс и задумывается Агата. Я надеялся (глупец!), что как-нибудь сумею вернуть этим достойным людям счастье. Во сне и во время моих походов в лес перед моими глазами всегда стояли почтенный седой старец, нежная Агата и мужественный Феликс. Я видел в них высших существ, вершителей моей судьбы. Тысячу раз рисовал я в своем воображении, как явлюсь перед ними и как они меня примут. Я понимал, что вызову в них отвращение, но думал кротостью и ласковыми речами снискать их расположение, а затем и любовь.

Эти мысли радовали меня и побуждали с новым рвением учиться человеческой речи. Голос у меня был резкий, но достаточно гибкий, и хотя он сильно отличался от их нежных и мелодичных голосов, я довольно легко произносил те слова, которые понимал. Это было как в басне об осле и комнатной собачке. Но неужели кроткий осел, привязчивый, хоть с виду и грубый, не заслуживал иного отношения, кроме побоев и брани?

Веселые ливни и весеннее тепло преобразили землю. Люди, прежде словно прятавшиеся где-то в норах, рассыпались по полям и принялись за крестьянские работы. Птицы запели веселее; на деревьях развернулись листья. О, счастливая земля! Еще недавно голая, сырая и неприветливая, она была теперь достойна богов. Моя душа радовалась великолепию природы; прошедшее изгладилось из моей памяти, в настоящем царили мир и покой, а будущее озарялось лучами надежды и ожиданием счастья.

Глава XIII

Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь.

Весна быстро вступала в свои права: погода стала теплой, а небо – безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и расцвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ.

В один из тех регулярно наступавших дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов – старик играл на гитаре, а дети слушали, – я заметил, что лицо Феликса бесконечно печально и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова, но тут раздался стук в дверь.

Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин – провожатый. Она была в темной одежде, под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее; в ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликса. Голос ее был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно приблизился; девушка откинула перед ним свою вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее, черные как вороново крыло, были искусно заплетены в косы; глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие; черты правильные, а кожа, на редкость белая, окрашивалась на щеках нежным румянцем.

При виде ее Феликс безмерно обрадовался; вся его грусть мигом исчезла, и лицо выразило восторг, на какой я не считал его способным: глаза его засияли, щеки разгорелись; в этот миг он показался мне так же прекрасен, как незнакомка. Ее, однако, волновали иные чувства. Отерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав ее, если я верно расслышал, своей прекрасной аравитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу, а юная незнакомка опустилась перед стариком на колени и хотела поцеловать у него руку, но он поднял ее и нежно прижал к сердцу.

Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объяснялись знаками, которые

зачастую были мне непонятны; но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман. Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кроткая Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, остававшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово, я понял, что она пытается научиться их языку; и мне тотчас пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомка усвоила около двадцати слов, большая часть которых была мне, правда, уже известна; остальными я пополнил свой запас.

Вечером Агата и аравитянка рано удалились на покой. Прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки и сказал: «Доброй ночи, милая Сафия». После этого он еще долго беседовал с отцом; и, судя по частому повторению ее имени, предметом их беседы была прекрасная гостья. Я жадно старался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно.

Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, аравитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился и замирал, точно песнь соловья в лесу.

Кончив, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась. Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему, но ей было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата попыталась объяснить Сафии: он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость.

Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей: лица моих друзей выражали теперь радость вместо печали. Сафия была неизменно весела; мы с ней делали большие успехи в языке, и через каких-нибудь два месяца я мог уже почти целиком понимать речь моих покровителей.

Между тем черная земля покрылась травой; на этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взор и обоняние, а ночью под луной светившиеся, точно бледные звезды. Солнце грело все сильнее, ночи стояли ясные и теплые; ночные походы были для меня большим удовольствием, хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, ибо я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому же обращению, что в первой деревне, куда я попытался

войти.

Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее овладеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем аравитянке, которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке, тогда как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов.

Учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которому обучали незнакомку, и не переставал дивиться и восхищаться.

Книга, по которой Феликс учил Сафию, была «Руины империй» Вольнея. Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс, читая, не давал самых подробных объяснений. Он сказал, что избрал это произведение потому, что слог его подражал восточным авторам. Эта книга дала мне понятие об истории и о главных ныне существующих государствах; я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощимом творческом гении греков, о войнах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении и о падении их могучей империи; о рыцарстве, о христианстве и королях. Я узнал об открытии Америки и вместе с Сафией плакал над горькой участью ее коренных обитателей.

Эти увлекательные рассказы вызывали во мне недоумение. Неужели человек действительно столь могуч, добродетелен и велик и вместе с тем так порочен и низок? Он казался мне то воплощением зла, то существом высшим, поистине богоподобным. Быть великим и благородным человеком представлялось мне величайшей честью, доступной мыслящему созданию; быть порочным и низким, как многие из описанных в книге людей, казалось мне глубочайшим падением, участью более жалкой, чем удел слепого крота или безобидного червяка. Я долго не мог понять, как может человек убивать себе подобных и для чего существуют законы и правительства; но когда я больше узнал о пороках и жестокостях, я перестал дивиться и содрогнулся от отвращения.

С тех пор каждая беседа обитателей хижины открывала мне новые чудеса. Слушая объяснения, которые Феликс давал аравитянке, я постигал странное устройство человеческого общества. Я узнал о неравенстве состояний, об огромных богатствах и жалкой нищете, о чинах, знатности и благородной крови.

Все это заставило меня взглянуть на себя как бы со стороны. Я узнал, что люди превыше всего ставят знатное и славное имя в сочетании с богатством. Можно добиться их уважения каким-нибудь одним из этих даров судьбы; но человек, лишенный обоих, считается, за крайне редкими исключениями, бродягой и рабом, обреченным отдавать все силы работе на

немногих избранных. А кто такой я? Я не знал, как и кем я был создан; знал только, что у меня нет ни денег, ни друзей, ни собственности. К тому же я был наделен отталкивающе уродливой внешностью и отличался от людей даже самой своей природой. Я был сильнее их, мог питаться более грубой пищей, легче переносил жару и холод и был гораздо выше ростом. Оглядываясь вокруг, я нигде не видел себе подобных. Неужели же я – чудовище, пятно на лице земли, создание, от которого все бегут и все отрекаются?

Не могу описать, какие муки причинили мне эти размышления. Я старался отмахнуться от них, но чем больше узнавал, тем больше скорбел. О, лучше бы я навеки оставался у себя в лесу, ничего не ведая и не чувствуя, кроме голода, жажды и жары!

Странная вещь – познание! Однажды познанное нами держится в уме цепко, как лишайник на скалах. Порой мне хотелось стряхнуть все мысли и чувства; но я узнал, что от страданий существует лишь одно избавление – смерть, а ее я боялся, хотя и не понимал. Я восхищался добродетелью и высокими чувствами; мне нравились кротость и мягкость обитателей хижины, но я не имел с ними общения и лишь украдкой наблюдал их, оставаясь невидимым и неизвестным, а это только разжигало, но не удовлетворяло мое желание приобщиться к людскому обществу. Не для меня были нежные слова Агаты и сверкающие улыбки аравитянки. Не ко мне обращались кроткие увещевания старца или остроумные реплики милого Феликса. О, несчастный отверженный!

Некоторые уроки поразили меня еще глубже. Я узнал о различии полов; о рождении и воспитании детей; о том, как отец любит улыбку младенца и смеется шалостям старших детей; как все заботы и вся жизнь матери посвящены драгоценному бремени; как развивается юный ум, как он познает жизнь, какими узами – родственными и иными – связаны между собой люди.

А где же были мои родные и близкие? У моей колыбели не стоял отец, не склонялась с ласковой улыбкой мать, а если все это и было, то теперь моя прошлая жизнь представлялась мне темной пропастью, где я ничего не различал. С тех пор как я себя помнил, я всегда был тех же размеров, что и сейчас. Я еще не видел никого, похожего на меня, никого, кто желал бы иметь со мной дело. Так кто же я? Задавая себе этот вопрос снова и снова, я мог отвечать на него лишь горестным стоном.

Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины, чья история вызвала во мне и негодование, и удивление, и восхищение, но в итоге заставила еще больше

любить и уважать моих покровителей, как я охотно называл их про себя, поддаваясь невинному самообману.

Глава XIV

Историю моих друзей я узнал не сразу. Она неизбежно должна была произвести на меня глубокое впечатление, ибо многие ее обстоятельства были новы и поразительны для неопытного существа вроде меня.

Фамилия старика была Де Лэси. Он происходил из хорошей французской семьи и долго жил в полном достатке, пользуясь уважением вышестоящих и любовью равных. Сын его готовился вступить на военную службу, а Агата занимала подобающее ей место среди дам высшего круга. За несколько месяцев до моего появления они еще жили в большом и богатом городе, именуемом Париж, окруженные друзьями, пользуясь всеми благами, какие могут доставить добродетель, образование и тонкий вкус в соединении с большим достатком.

Причиной их бедствий стал отец Сафии. Это был турецкий негодант, который давно проживал в Париже, но вдруг по какой-то непонятной для меня причине стал негоден правительству. Он был схвачен и заключен в тюрьму в тот самый день, когда к нему из Константинополя приехала Сафия. Его судили и приговорили к смертной казни. Несправедливость приговора была очевидной; весь Париж был возмущен; все считали, что причиной осуждения явилось его богатство и вероисповедание, а вовсе не приписанное ему преступление.

Феликс случайно присутствовал на суде; услышав приговор, он пришел в крайнее негодование. Он дал торжественный обет спасти невинного и стал изыскивать для этого средства. После многих тщетных попыток проникнуть в тюрьму он обнаружил зарешеченное окно в неохранявшейся части здания, которое сообщалось с камерой несчастного мусульманина; закованный в цепи, тот в отчаянии ожидал исполнения жестокого приговора. Ночью Феликс пришел под окно и сообщил узнику о своем намерении. Изумленный и обрадованный турок попытался подогреть усердие своего избавителя, посулив ему богатую награду. Феликс с презрением отверг ее; но, увидев однажды прекрасную Сафию, которой было дозволено навещать отца и которая знаками выразила юноше горячую благодарность, он должен был признать, что узник действительно обладал сокровищем, которое могло бы всецело вознаградить его за труды и риск.

Турок тотчас заметил впечатление, произведенное его дочерью на Феликса, и решил сильнее заинтересовать его, обещав ему руку своей дочери, как только его самого удастся препроводить в безопасное место.

Деликатность не позволяла Феликсу принять подобное предложение, но о возможности этого события он стал мечтать как о высшем для себя счастье.

В последующие дни, пока шли приготовления к побегу, Феликс разгорелся еще больше, получив несколько писем от красавицы, которая нашла способ сноситься с влюбленным юношей на его языке через посредство старого отцовского слуги, знавшего по-французски. Она в самых пылких выражениях благодарила его за обещанную отцу помощь и в то же время горько сетовала на свою судьбу.

Я переписал эти письма, ибо за время жизни в сарае сумел добыть письменные принадлежности, а письма часто находились в руках Феликса или Агаты. Я дам их тебе, перед тем как уйти; они подтвердят правду моих слов, а сейчас солнце уже клонится к закату, и я едва успею пересказать тебе их суть.

Сафия писала, что мать ее, крещеная аравитянка, была похищена турками и продана в рабство; своей красотой она пленила сердце отца Сафии, который на ней женился. Девушка восторженно говорила о своей матери; рожденная свободной, та презирала свое нынешнее рабство. Свою дочь она воспитала в догмах христианства и научила стремиться к духовному развитию и свободе, не дозволенной женщинам мусульманских стран. Ее уже не было в живых; но ее наставления навсегда запечатлелись в душе Сафии, которой претила мысль о возвращении в Азию, где ее ждало заточение в стенах гарема, позволявшего женщине одни лишь ребяческие забавы; а это возмущало ее душу, приученную к возвышенным помыслам и благородному стремлению к добродетели. Сафию радовала мысль о браке с христианином и возможность остаться в стране, где женщины могут занимать определенное положение в обществе. День казни турка уже был назначен, но накануне ночью он бежал из тюрьмы и к утру был уже за много лье от Парижа. Феликс добыл паспорта на свое имя, а также на имя своего отца и сестры. Отцу он предварительно сообщил о своем плане, и тот помог обману, сделав вид, что отправляется в поездку, тогда как в действительности укрылся вместе с дочерью на глухой окраине Парижа.

Феликс довез беглецов до Лиона, а затем через Мон-Сени до Ливорно, где купец намерен был дожидаться удобного случая переправиться в турецкие владения.

Сафия решила оставаться с отцом до его отъезда, а турок повторил свое обещание сочетать ее браком со своим спасителем. В ожидании свадьбы Феликс остался с ними, наслаждаясь обществом своей аравитянки, которая выказывала ему самую нежную и искреннюю любовь. Они

беседовали с помощью переводчика, а иногда одними лишь взглядами, и Сафия пела ему дивные песни своей родины.

Турок поощрял это сближение и поддерживал надежды юной пары, а сам между тем лелеял совсем иные планы. Ему была ненавистна мысль выдать дочь за христианина, но он боялся показать это Феликсу, ибо пока еще зависел от своего спасителя, который мог, если б захотел, выдать его властям итальянского княжества, где они находились. Он придумывал все новые способы длить свой обман до тех пор, пока он уже не будет нужен, и решил, уезжая, тайно увезти с собой дочь. Вести из Парижа помогли его намерениям.

Французское правительство было взбешено побегом своей жертвы и не жалело усилий, чтобы обнаружить и покарать ее спасителя. Заговор Феликса был быстро обнаружен, и Де Лэси вместе с Агатой брошены в тюрьму. Весть эта дошла до Феликса и пробудила его от блаженного забытья. Его старый слепой отец и кроткая сестра томились в сырой темнице, а он наслаждался свободой и близостью своей любимой. Эта мысль была ему нестерпима. Он условился с турком, что Сафия укроется в монастыре в Ливорно, если ее отцу представится возможность уехать прежде, чем Феликс сумеет вернуться в Италию; сам же Феликс поспешил в Париж и отдался в руки правосудия, надеясь таким образом добиться освобождения Де Лэси и Агаты.

Это ему не удалось. Их продержали в тюрьме пять месяцев, вплоть до суда, а затем приговорили к пожизненному изгнанию с конфискацией всего имущества.

Тогда-то они и поселились в Германии, в той бедной хижине, где я их нашел. Вскоре Феликс узнал, что вероломный турок, из-за которого он и его семья претерпели такие бедствия, поправ все законы морали и чести, уехал из Италии вместе с дочерью; в довершение оскорбления он прислал Феликсу небольшую сумму денег, чтобы, как он писал, помочь ему стать на ноги.

Вот что терзало душу Феликса и делало его, когда я впервые его увидел, самым несчастным из всей семьи. Он мог бы смириться с бедностью и даже гордиться ею как расплатой за свой благородный поступок; но неблагодарность турка и потеря любимой девушки были худшими и непоправимыми бедствиями. Сейчас приезд аравитянки словно влил в него новую жизнь.

Когда до Ливорно дошла весть, что Феликс лишился имущества и звания, турок приказал дочери забыть о возлюбленном и готовиться к отъезду на родину. Благородная душа Сафии была возмущена этим

приказом. Девушка попыталась спорить с отцом, но тот, не слушая ее, гневно повторил свое деспотическое требование.

Несколько дней спустя он вошел в ее комнату и торопливо сообщил, что его пребывание в Ливорно, видимо, стало известно властям, которые не замедлят выдать его французскому правительству, а потому он уже нанял судно и через несколько часов отплывает в Константинополь. Дочь он решил оставить на попечении верного слуги, с тем чтобы она последовала за ним позже, вместе с большей частью имущества, которое еще не успели доставить в Ливорно.

Оставшись одна, Сафия избрала тот план действий, какой считала правильным. Жизнь в Турции была ей ненавистна; против этого говорили и чувства ее и верования. Из бумаг отца, попавших ей в руки, она узнала об изгнании своего возлюбленного и его местопребывании. Некоторое время она еще колебалась, но потом решилась. Взяв с собой драгоценности и некоторую сумму денег, она в сопровождении служанки, уроженки Ливорно, знавшей по-турецки, покинула Италию и отправилась в Германию.

Она благополучно достигла городка, находившегося в каких-нибудь двадцати лье от хижины Де Лэси, но тут ее служанка тяжело заболела. Сафия нежно за ней ухаживала, но бедняжка умерла, и аравитянка осталась одна, незнакомая с языком страны и совершенно неопытная в житейских делах. Однако ей повезло на добрых людей. Итальянка успела назвать ей местность, куда они направлялись; а после ее смерти хозяйка дома позаботилась о том, чтобы Сафия благополучно добралась до своего возлюбленного.

Глава XV

Такова была история милых мне обитателей хижины. Она глубоко меня растрогала. Через нее мне раскрылись различные стороны общественной жизни; она научила меня восхищаться добродетелью и ненавидеть порок.

Зло еще было мне чуждо; примеры доброты и великодушия постоянно были у меня перед глазами; они вызывали у меня желание самому участвовать в жизни, где можно и нужно было проявлять столь высокие качества. Но, рассказывая о своем духовном развитии, я не могу умолчать об одном обстоятельстве, относящемся к началу августа того же года.

Однажды ночью, пробираясь, по своему обыкновению, в лес, где я добывал себе пищу и собирал дрова для своих друзей, я нашел кожаную дорожную сумку, в которой была кое-какая одежда и несколько книг. Я радостно схватил этот трофей и вернулся с ним к себе в сарай. По счастью, книги были написаны на языке, уже отчасти знакомом мне. То был «Потерянный рай», один из томов «Жизнеописаний» Плутарха и «Страдания молодого Вертера». Обладание этими сокровищами принесло мне много радости. Отныне я непрерывно питал ими свой ум, пока мои друзья занимались повседневными делами.

Трудно описать действие на меня этих сочинений. Они вызывали множество новых образов и чувств, иногда приводивших меня в экстаз, но чаще ввергавших в глубочайшее уныние. В «Страданиях Вертера», интересных не одним лишь простым и трогательным сюжетом, высказано столько мнений, освещено столько вопросов, ранее мне непонятных, что я нашел там неиссякаемый источник удивления и размышлений. Мирные семейные сцены, а также возвышенные чувства и побуждения, в которых не было места себялюбию, согласовывались с тем, что я наблюдал у моих друзей, и со стремлениями, жившими в моей собственной груди. Сам Вертер представлялся мне высшим из всех виденных или воображаемых мною существ. Все в нем было просто, но трогало до глубины души. Размышления о смерти и самоубийстве неизбежно должны были наполнить меня удивлением. Я не мог во всем этом разобраться, но сочувствовал герою и плакал о его смерти, хотя и не вполне понимал ее надобность.

Читая, я многое старался применить к себе. Я казался себе похожим и вместе странно непохожим на тех, о ком читал и кого наблюдал. Я им сочувствовал и отчасти понимал их, но ум мой был еще не развит; я ни от

кого не зависел и ни с кем не был связан, и оплакивать меня было некому, когда меня «возьмет таинственная чаща». Я был страшен на вид и гигантского роста. Что это значило? Кто я был? Откуда? Каково мое назначение? Эти вопросы я задавал себе непрестанно, но ответа на них не знал.

Попавший ко мне том Плутарха содержал жизнеописания основателей древних республик. Эта книга оказала на меня совсем иное действие, чем «Страдания молодого Вертера». Вертер научил меня тосковать и грустить, тогда как Плутарх внушил высокие мысли; он поднял меня над жалкими себялюбивыми заботами, заставив восхищаться героями древности. Многое из прочитанного было выше моего понимания. Я имел некоторое представление о царствах, об обширных пространствах, могучих реках и безбрежных морях. Но я был совершенно незнаком с городами и большими скоплениями людей. Хижина моих покровителей была единственным местом, где я изучал человеческую природу; а эта книга показала мне новые и более широкие арены действия. Я прочел о людях, занятых общественными делами; о тех, кто правил себе подобными или убивал их. Я ощутил в себе горячее стремление к добродетели и отвращение к пороку, насколько я понимал значение этих слов, связанных для меня лишь с радостью или болью. Это заставило меня восхищаться миролюбивыми законодателями – Нумой, Солоном и Ликургом, скорее чем Ромулом и Тезеем. Патриархальная жизнь моих покровителей внушила мне прежде всего именно эти понятия; если бы мое знакомство с людьми началось с молодого воина, жаждущего славы и битв, я, вероятно, исполнился бы иных чувств.

«Потерянный рай» вызвал во мне иное и гораздо более глубокое волнение. Я принял его, как и другие доставшиеся мне книги, за рассказ об истинном происшествии. Читая, я ощущал все изумление и ужас, какие способен вызвать образ всемогущего бога, ведущего войну со своими созданиями. При этом я часто проводил параллели с собственной судьбой.

Как и у Адама, у меня не было родни; но во всем другом мы были различны. Он вышел из рук бога во всем совершенстве, счастливый и хранимый заботами своего творца; он мог беседовать с высшими существами и учиться у них; а я был несчастен, одинок и беспомощен. Мне стало казаться, что я скорее подобен Сатане; при виде счастья моих покровителей я тоже часто ощущал горькую зависть.

Еще одно обстоятельство укрепило и усилило эти чувства. Вскоре после того, как я поселился в сарае, я обнаружил в карманах одежды, захваченной мною из твоей лаборатории, какие-то записки. Сперва я не

обратил на них внимания; но теперь, когда я мог их прочесть, я внимательно ознакомился с ними. Это был твой дневник за четыре месяца, предшествовавшие моему появлению на свет. В нем ты подробно, шаг за шагом описывал свою работу, перемежая эти записи с дневником твоей повседневной жизни. Ты, конечно, помнишь их, вот они. Здесь ты запечатлел все, что связано с моим злополучным рождением; здесь подробнейшим образом описана моя уродливая наружность, и притом такими словами, в которых выразилось все твоё отвращение и которых мне никогда не забыть. «Будь проклят день моего рождения! – восклицал я. – Проклятый творец! Зачем ты создал чудовище, от которого даже ты сам отвернулся с омерзением? Бог в своем милосердии создал человека прекрасным по своему образу и подобию; я же являюсь изуродованным подобием тебя самого, еще более отвратительным из-за этого сходства. У Сатаны были собратья-демоны; в их глазах он был прекрасен. А я одинок и всем ненавистен».

Так я размышлял в часы одиночества и уныния; но, видя добродетели обитателей хижины, их кротость и благожелательность, я убеждал себя, что они пожалеют меня, когда узнают о моем восхищении ими, и простят мне мое уродство. Неужели они прогонят от себя существо, умоляющее о жалости и дружбе, как бы уродливо оно ни было? Я решил не отчаиваться, но как можно лучше подготовиться к встрече с ними, которая решит мою судьбу. Эту встречу я отложил еще на несколько месяцев; значение, которое я придавал ей, заставляло меня страшиться неудачи. К тому же каждодневный опыт так развивал мой ум, что мне не хотелось ничего предпринимать, пока время не прибавит мне мудрости.

Между тем в хижине произошли некоторые перемены. Приезд Сафии принес не только радость, но и достаток. Феликс и Агата уделяли теперь больше времени забавам и беседе, а в трудах им помогали работники. Это было не богатство, но довольство; у них царил безмятежный покой; а во мне с каждым днем росло смятение. Познание лишь яснее показало мне, что я – отверженный. Правда, я лелеял надежду; но стоило мне увидеть свое отражение в воде или свою тень при лунном свете, как надежда исчезала, подобно зыбкому отражению и неверной тени.

Я пытался побороть страх и укрепить свой дух для предстоявшего мне через несколько месяцев испытания. Иногда, не сдерживая свои мечты разумом, я позволял им уноситься в сады рая и осмеливался рисовать в своем воображении прекрасные и нежные создания, которые сочувствуют мне и ободряют меня; на их ангельских лицах сияют для меня улыбки утешения. Но это были лишь мечты; у меня не было Евы, которая делила

бы мои мысли и развеивала мою печаль; я был один. Я вспоминал мольбу Адама к своему создателю. А где же был мой создатель? Он покинул меня, и, ожесточась сердцем, я проклинал его.

Так прошла осень. С удивлением и грустью я увидел, как опали листья и все вновь стало голо и мрачно, как было тогда, когда я впервые увидел лес и свет луны. Стужа меня не пугала. Я был лучше приспособлен для нее, чем для жары. Но меня радовали цветы, птицы и весь веселый наряд лета; когда я лишился этого, меня еще больше потянуло к жителям хижины. Их счастье не убавилось с уходом лета. Они любили друг друга, и радости, которые они друг другу дарили, не зависели от происходивших в природе перемен. Чем больше я наблюдал их, тем больше мне хотелось просить у них защиты и ласки; я жаждал, чтобы они узнали меня и полюбили; увидеть их ласковые взгляды, обращенные на меня, было пределом моих мечтаний. Я не решался подумать, что они могут отвратить их от меня с презрением и брезгливостью. Ни одного нищего они не прогоняли от своих дверей. Правда, я собирался просить о большем, чем приют или кусок хлеба, я искал сочувствия и расположения; но неужели я был совершенно недостоин их?

Наступила зима; с тех пор как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. Теперь все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателям хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один. Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, что все видевшие меня до тех пор более всего пугались моего внешнего уродства. Голос мой был груб, но не страшен. Поэтому я полагал, что если я завоюю расположение старого Де Лэси в отсутствие его детей, то и мои молодые покровители, быть может, согласятся меня терпеть.

Однажды, когда солнце ярко освещало багровую листву, устилавшую землю, и еще радовало взор, хотя уже не грело, Сафия, Агата и Феликс отправились в дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда его дети ушли, он взял свою гитару и сыграл несколько печальных и нежных мелодий, самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его светилось удовольствием, но скоро сделалось задумчивым и печальным; отложив инструмент, он погрузился в раздумье.

Сердце мое сильно билось; пришел час испытания, который осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближнюю ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее; это был отличный случай; и все же, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня, и я опустился на землю. Но я тут же поднялся

и, призвав на помощь всю твердость, на какую я был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. Свежий воздух ободрил меня, и я с новой решимостью приблизился к дверям хижины.

Я постучал.

– Кто там? – откликнулся старик. – Войдите.

Я вошел.

– Прошу простить мое вторжение, – сказал я. – Я – путник и нуждаюсь в отдыхе. Я буду очень благодарен, если вы позволите мне немного посидеть у огня.

– Входите, – сказал Де Лэси, – и я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не сумею вас накормить.

– Не утруждайте себя, мой добрый хозяин, еда у меня есть; мне нужно лишь обогреться и отдохнуть.

Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор; но тут старик сам обратился ко мне:

– Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк – ведь вы тоже француз, не правда ли?

– Нет, но я вырос во французской семье и знаю один лишь этот язык. Сейчас я пришел просить убежища у друзей, которых я искренне люблю и надеюсь к себе расположить.

– А они немцы?

– Нет, они французы. Но позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное. На всем свете у меня нет ни родственника, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало обо мне знают. Мне страшно; если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем.

– Не отчаивайтесь. Одиночество действительно несчастье. Но сердца людей, когда у них нет прямого эгоистического расчета, полны братской любви и милосердия. Надейтесь; если это добрые люди, отчаиваться не следует.

– Они добры, нет никого добрее их; но, к несчастью, они предубеждены против меня. У меня кроткий нрав, я никому еще не причинил зла и даже старался делать добро, но они ослеплены роковым предубеждением и вместо любящего друга видят только отвратительного уроды.

– Это печально, но если вас действительно не в чем упрекнуть, неужели нельзя рассеять их заблуждение?

– Я попытаюсь это сделать; поэтому-то меня и томит страх. Я нежно

люблю своих друзей; не знаемый ими, я вот уже много месяцев стараюсь им служить, но они могут подумать, что я хочу причинить им зло; вот предубеждение, которое мне надо рассеять.

– Где они живут?

– Поблизости отсюда.

Старик помолчал, а затем продолжал:

– Если вы откровенно поделитесь со мной подробностями своей истории, я, быть может, помогу вам расположить их к себе. Я слеп и не вижу вас, но что-то в ваших словах убеждает меня в вашей искренности. Я всего лишь бедный изгнанник, но для меня будет истинной радостью оказать услугу ближнему.

– Добрый человек! Благодарю вас и принимаю ваше великодушное предложение. Вашей добротой вы подымаете меня из праха. Я верю, что с вашей помощью не буду отлучен от общества ваших ближних.

– Упаси боже! Пусть вы даже преступник, отлучение только доведет вас до отчаяния, но не обратит к добру. Я тоже несчастен; я и моя семья были безвинно осуждены. Судите сами, как я сочувствую вашим горестям.

– Как мне благодарить вас, мой единственный благодетель? Из ваших уст я впервые слышу добрые слова, обращенные ко мне. Я вечно буду вам благодарен; ваша доброта позволяет мне надеяться, что меня ждет хороший прием и у друзей, с которыми я должен сейчас встретиться.

– Позвольте узнать их имена и где они живут?

Я умолк. Вот она, решительная минута, которая осчастливит меня или лишит счастья навеки. Я напрасно пытался ответить ему; волнение лишило меня последних сил. Я опустил на стул и разрыдался. В это время послышались шаги моих молодых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул:

– Час настал! Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь, – это вы и ваша семья. Не оставляйте меня в этот час испытания!

– Боже! – вскричал старик. – Кто же вы такой?

Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, Сафия и Агата. Кто опишет их ужас при виде меня? Агата упала без чувств. Сафия, не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон. Феликс кинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, у которого я обнимал колени. В ярости он опрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев – антилопу. Но мое сердце сжала смертельная тоска, и я удержался. Он приготовился повторить удар, но тут я, не помня себя от горя, бросился вон из хижины и среди общего

смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае.

Глава XVI

О проклятый, проклятый мой создатель! Зачем я остался жить? Зачем тут же не погасил искру жизни, так необдуманно зажженную тобой? Не знаю; но тогда я еще не впал в отчаяние; мной владели ярость и жажда мести. Я с радостью уничтожил бы хижину вместе с ее обитателями и наслаждался бы их стонами и страданиями.

Когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и побрел по лесу; здесь, не опасаясь быть услышанным, я выразил свою муку ужасными криками. Подобно дикому зверю, порвавшему путы, я сокрушал все, что мне попадалось, и метался по лесу с быстротою оленя. О, какую страшную ночь я пережил! Холодные звезды смотрели на меня с насмешкой; обнаженные деревья качали надо мною ветвями; по временам тишина нарушалась мелодичным пением птиц. Все, кроме меня, вкушали покой и радость; и только я, подобно Сатане, носил в себе ад; не видя нигде сочувствия, я жаждал вырывать с корнем деревья и сеять вокруг себя разрушение; а потом любоваться делом своих рук.

Но подобное исступление не могло длиться долго. Буйство утомило меня, и я в бессильном отчаянии опустился на влажную траву. Среди бесчисленных жителей Земли не нашлось ни одного, кто пожалел бы меня и помог мне; так что же мне щадить моих врагов? Нет, с той минуты я объявил вечную войну всему человеческому роду и прежде всего тому, кто создал меня и обрек на нестерпимые муки.

Взошло солнце; я услышал людские голоса и понял, что при свете дня не смогу вернуться в свое убежище. Поэтому я спрятался в густом кустарнике, решив посвятить ближайшие часы раздумьям над своим положением.

Солнечное тепло и чистый воздух несколько умиротворили меня; вспомнив, что произошло в хижине, я заключил, что слишком поторопился с окончательным выводом. Я, несомненно, поступил неосторожно. Мои речи явно расположили старика в мою пользу, но какой же я был дурак, что тут же показался на глаза его детям! Мне надо было прежде приучить к себе старого Де Лэси, а перед остальными членами семьи появиться позже, когда они были бы к этому подготовлены. Однако эти ошибки не казались мне непоправимыми. После долгих размышлений я решил вернуться в хижину, снова обратиться к старику и склонить его на свою сторону.

Эти мысли меня успокоили; и к полудню я крепко уснул; но жар в

моей крови еще не остыл, и мои сновидения не могли быть мирными. Страшная сцена, происшедшая накануне, вновь и вновь разыгрывалась передо мной: женщины убегали, а разъяренный Феликс отрывал меня от колен своего отца. Я проснулся в изнеможении; видя, что уже стемнело, я вылез из кустов и отправился добывать пищу.

Утолив голод, я вышел на знакомую тропинку и направился к хижине. Там царила тишина. Я прокрался в свой сарай и стал дожидаться часа, когда семья обычно пробуждалась. Этот час прошел, солнце поднялось совсем высоко, а обитатели хижины не показывались. Я дрожал, опасаясь какого-нибудь ужасного несчастья. Внутри хижины было темно и не слышалось ни звука; не могу описать, как мучительна была эта неизвестность.

Вот прошли мимо два крестьянина; замедлив шаг возле хижины, они завели разговор, сопровождая его оживленной жестикуляцией; но я не понимал их, ибо они говорили на языке своей страны, а это не был язык моих покровителей. Вскоре, однако, подошел Феликс, а с ним еще один человек. Это меня удивило, ибо я не видел, чтобы он утром выходил из дому; и я с волнением ждал, надеясь из его речей понять, что происходит.

– Ты, значит, хочешь, – говорил Феликсу его спутник, – уплатить за три месяца аренды да еще оставить в огороде несобранный урожай? Я не хочу пользоваться чужой бедой. Давай лучше подождем несколько дней, может, ты передумаешь?

– Бесполезно, – ответил Феликс, – мы не сможем здесь оставаться. Мой отец опасно занемог после пережитых ужасов. Моя жена и моя сестра никогда от них не оправятся. Нет, не уговаривайте меня. Вот вам ваш дом, а мне бы только скорее бежать отсюда.

Говоря это, Феликс весь дрожал. Вместе со своим спутником он на несколько минут вошел в дом, а затем удалился. С тех пор я больше не видел никого из семьи Де Лэси.

Остаток дня я провел в своем сарае, погруженный в тупое отчаяние. Мои покровители уехали и порвали единственную связь, соединявшую меня с миром. Тут моя душа впервые наполнилась ненавистью и жаждой мести, и я не пытался их побороть; я отдался в их власть, и все мои помыслы обратились на разрушение и смерть. При воспоминании о моих друзьях, о ласковом голосе Де Лэси, о кротких глазах Агаты, о дивной красоте аравитянки эти мысли исчезали и сменялись слезами, которые несколько облегчали меня. Но я тут же вспоминал, как они оттолкнули и покинули меня, и во мне снова закипала неистовая ярость; не имея возможности сокрушить что-либо живое, я обратил ее на неодушевленные

предметы. Когда стемнело, я обложил хижину всевозможными горючими материалами; уничтожив все, что росло в огороде, я стал с нетерпением дожидаться, пока зайдет луна и можно будет начать действовать.

Ночью из леса подул сильный ветер и быстро разогнал замешкавшиеся в небе облака; порывы его все усиливались и крепчали и вызвали во мне какое-то безумие, опрокинувшее все преграды рассудка. Я поджег сухую ветку и заплясал вокруг обреченной хижины, не переставая взглядывать на запад, где луна уже заходила. Наконец часть ее диска скрылась, и я взмахнул своим факелом; когда она скрылась целиком, я с громким криком поджег собранную мной солому, вереск и ветки кустарника. Ветер раздул огонь, и скоро вся хижина окуталась пламенем, лизавшим ее губительными языками.

Убедившись, что дом уже невозможно спасти, я удалился и скрылся в лесу.

Передо мной был открыт весь мир; куда же направиться? Я решил бежать как можно дальше от мест, где я столько выстрадал. Но для меня, всеми ненавидимого и презираемого, любой край таил в себе ужасы. Наконец меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателем; к кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь? В числе предметов, которым Феликс обучал Сафию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре. Ты упоминал Женеву как свой родной город; туда я и решил отправиться.

Но как я мог найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении; но единственным моим путеводителем было солнце. Я не знал названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа; однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи, хотя и не питал к тебе ничего, кроме ненависти. Безжалостный, бессердечный создатель! Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид, и я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми.

Путешествие мое было долгим, и я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местность, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увядала, солнце уже не излучало тепла; шел дождь и снег; замерзали могучие реки; поверхность земли стала твердой, холодной

и голой; я нигде не находил крова. О земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падая снег; водоемы замерзли, но я не отдыхал. Некоторые случайности время от времени помогали мне, и у меня была карта страны; но все же я часто далеко отклонялся от своего пути. Мои страдания не давали мне передышки; не было события, которое не питало бы мою ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я очутился в пределах Швейцарии и солнце снова стало излучать тепло, а земля покрываться зеленью, особенно ожесточило меня.

Обычно я отдыхал в течение дня и отправлялся в путь, только когда ночь надежно скрывала меня от людей. Но однажды утром, убедившись, что мой путь проходит через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца; наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня – так ярко светило солнце, и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы; я даже благодарно возвел влажные глаза к благословенному солнцу, дарившему меня такой радостью.

Я долго кружил по лесным тропинкам, пока не добрался до опушки, где протекала глубокая и быстрая речка, над которой деревья склоняли свои ветви, ожившие с весною. Здесь я остановился, как вдруг услышал голоса, заставившие меня укрыться в тень кипариса. Едва я успел спрятаться, как к моему укрытию подбежала молодая девушка, громко смеясь, словно она, играючи, от кого-то спасалась. Она побежала дальше по обрывистому берегу, но вдруг поскользнулась и упала в быстрый поток. Я выскочил из своего укрытия; напрягая все силы в борьбе с течением, я спас ее и вытащил на берег. Она лежала без чувств. Я употребил все, что было в моих силах, чтобы ее оживить; но тут меня застиг крестьянин, вероятно тот самый, от которого она в шутку убегала. Увидев меня, он бросился ко мне и, вырвав девушку из моих рук, поспешно направился в глубь леса. Я быстро последовал за ними, едва отдавая себе отчет, зачем я это делаю. Но когда он увидел, что я нагоняю его, он прицелился в меня из ружья и выстрелил. Я упал, а мой обидчик с еще большей поспешностью скрылся в лесу.

Вот какую награду я получил за свою доброту! Я спас человеческую

жизнь, а за это корчился теперь от ужасной боли; выстрел разорвал мышцу и раздробил кость. Добрые чувства, которые я испытывал лишь за несколько мгновений до этого, исчезли, и я в бешенстве скрежетал зубами. Обезумев от боли, я дал обет вечной ненависти и мщения всему человечеству. Но страдания, причиненные раной, истощили меня; пульс мой остановился, и я потерял сознание.

В течение нескольких недель я влачил жалкое существование в лесах, пытаюсь залечить полученную рану. Пуля попала мне в плечо, и я не знал, застряла ли она там или прошла насквозь; во всяком случае, у меня не было никакой возможности ее извлечь. Мои страдания усугублялись гнетущим сознанием несправедливости, мыслью о неблагодарности тех, кто их причинил. Я ежедневно клялся в мщении – смертельном мщении, которое одно могло вознаградить меня за все муки и оскорбления.

Через несколько недель рана зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежные дуновения весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость обернулась насмешкой, оскорбившей мою неутешную душу и заставившей меня еще мучительнее почувствовать, что я не создан для счастья.

Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через два месяца я достиг окрестностей Женевы.

Когда я прибыл, уже вечерело, и я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, садившегося за громадные вершины Юры.

Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум; но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле.

Вот почему я поймал мальчика, когда он пробежал мимо меня, и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в стороны и сказал:

– Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня.

Он отчаянно забился.

– Пусти меня! – кричал он. – Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня

съесть и разорвать на кусочки. Ты – людоед. Пусти меня, а то я скажу папе.

– Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу; ты должен пойти со мной.

– Отвратительное чудовище! Пусти меня. Мой папа – судья. Его зовут Франкенштейн. Он тебя накажет. Ты не смеешь меня держать.

– Франкенштейн! Ты, значит, принадлежишь к стану моего врага, которому я поклялся вечно мстить. Так будь же моей первой жертвой.

Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими в меня отчаяние. Я сжал его горло, чтоб он замолчал, и вот он уже лежал мертвым у моих ног.

Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством; хлопнув в ладоши, я воскликнул:

– Я тоже могу сеять горе; оказывается, мой враг уязвим; эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий истерзает и раздавит его!

Уставившись на ребенка, я увидел на его груди что-то блестящее. Я взял вещицу в руки; это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста. Но вскоре гнев снова обуял меня; я вспомнил, что навсегда лишен радости, какую способны дарить такие женщины; ведь если б эта женщина, чьим портретом я любовался, увидела меня, выражение божественной доброты сменилось бы у нее испугом и отвращением.

Можно ли удивляться, что такие думы приводили меня в ярость? Я удивляюсь лишь одному: почему в тот момент я дал выход своим чувствам только восклицаниями, а не бросился на людей и не погиб в схватке с ними.

Подавленный этими чувствами, я покинул место, где совершил убийство, и в поисках более надежного укрытия вошел в какой-то сарай, думая, что там никого нет. На соломе спала женщина; она была молода, правда, не так прекрасна, как та, чей портрет я держал в руках, но приятной внешности, цветущая юностью и здоровьем. Вот, подумал я, одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме меня. Тогда я склонился над нею и прошептал: «Проснись, прекраснейшая, твой возлюбленный тут, рядом с тобою, и готов отдать жизнь за один твой ласковый взгляд; любимая, проснись!»

Спящая шевельнулась; и дрожь ужаса пронизала меня. А вдруг она в самом деле проснется, увидит меня, проклянет и обличит как убийцу? Так она и поступила бы, если бы глаза ее открылись и она увидела меня. Эта

мысль могла свести с ума; она разбудила во мне дьявола; пусть пострадаю не я, а она, пусть поплатится за убийство, которое я совершил; ведь я навеки лишен всего, что она могла бы мне дать. Она породила преступление, пусть она и понесет наказание! Уроки Феликса и кровавые законы людей научили меня творить зло. Я склонился над ней и спрятал портрет в складках ее платья. Она снова шевельнулась, и я убежал.

Еще несколько дней я бродил возле места, где произошли эти события, то желая увидеть тебя, то решая навсегда покинуть этот мир страданий. Наконец я поднялся в горы и теперь брожу здесь в глуши, снedaемый жгучей страстью, которую могу удовлетворить лишь при твоей помощи. Мы не можем расстаться до тех пор, пока ты не обещаешь согласиться на мое требование. Я одинок и несчастен; ни один человек не сблизится со мной; но существо такое же безобразное, как я сам, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть такой же, как я, и отличаться таким же уродством. Это существо ты должен создать.

Глава XVII

Чудовище умолкло и вперило в меня взгляд, ожидая ответа. Но я был ошеломлен, растерян и не мог достаточно собраться с мыслями, чтобы в полной мере понять его требование. Он продолжал:

– Ты должен создать для меня женщину, с которой мы могли бы жить, питая друг к другу привязанность, необходимую мне как воздух. Это можешь сделать только ты. Я вправе требовать этого, и ты не можешь мне отказать.

Последние его слова с новой силой возбудили мой гнев, который было утих, пока он рассказывал о своей мирной жизни в хижине; когда же он произнес эти слова, я больше не в силах был совладать со своей яростью.

– Я отказываюсь, – ответил я, – и никакие пытки не вырвут у меня согласия. Ты можешь сделать меня самым несчастным из людей, но ты никогда не заставишь меня пасть так низко в моих собственных глазах. Могу ли я создать другое, подобное тебе, существо, чтобы вы вместе опустошали мир? Прочь от меня! Мой ответ ясен; ты можешь замучить меня, но я никогда на это не соглашусь.

– Ты несправедлив, – ответил демон. – Я не стану угрожать, я готов убеждать тебя. Я затаил злобу, потому что несчастен. Разве не бегут от меня, разве не ненавидят меня все люди? Ты сам, мой создатель, с радостью растерзал бы меня; пойми это и скажи: почему я должен жалеть человека больше, чем он жалеет меня? Ты не считал бы себя убийцей, если бы тебе удалось сбросить меня в одну из этих ледяных пропастей и уничтожить мое тело – создание твоих собственных рук. Почему же я должен щадить людей, когда они меня презирают? Пусть бы человек жил со мной в согласии и дружбе; тогда вместо зла я осыпал бы его всеми благами и со слезами благодарил бы только за то, что он принимает их. Но это невозможно. Человеческие чувства создают для нашего союза неодолимую преграду. А я не могу смириться с этим, как презренный раб. Я отомщу за свои обиды. Раз мне не дано вселять любовь, я буду вызывать страх; и прежде всего на тебя – моего заклятого врага, моего создателя – я клянусь обрушить неугасимую ненависть. Берегись: я сделаю все, чтобы тебя уничтожить, и не успокоюсь, пока не опустошу твое сердце и ты не проклянешь час своего рождения.

Эти слова он произнес с дьявольской злобой. Его лицо исказилось безобразной гримасой, которую не мог выдержать человеческий взгляд.

Однако вскоре он успокоился и продолжал:

– Я хотел убедить тебя. Злобой я могу только повредить себе в твоих глазах; ибо ты не хочешь понять, что именно *ты* ее причина. Если б кто-нибудь отнесся ко мне с ласкою, я отплатил бы ему стократно; ради одного этого создания я помирился бы со всем человеческим родом. Но это – несбыточная мечта. А то, что я прошу у тебя, разумно и скромно. Мне нужно существо другого пола, но такое же отвратительное, как и я. Малая радость, но это все, что я могу получить. И я удовольствуюсь этим. Правда, мы будем уродами, отрезанными от мира; но благодаря этому мы еще более привяжемся друг к другу. Наша жизнь не будет счастливой, но она будет чиста и свободна от страданий, которые я сейчас испытываю. О мой создатель! Сделай меня счастливым; позволь мне почувствовать благодарность к тебе за одну-единственную милость. Позволь мне убедиться, что я способен хоть в ком-нибудь возбудить сочувствие; не отказывай в моей просьбе!

Я был тронут. Я содрогался, думая о возможных последствиях моего согласия, но сознавал, что в его доводах есть нечто справедливое. Его рассказ и выраженные им чувства показали, что это существо наделено чувствительностью. И не был ли я обязан, как его создатель, наделить его частицей счастья, если это было в моей власти? Он заметил перемену в моем настроении и продолжал:

– Если ты согласен, то ни ты, ни какое-либо другое человеческое существо никогда нас больше не увидит: я удалюсь в обширные пустыни Южной Америки. Моя пища отличается от человеческой; я не уничтожу ни ягненка, ни козленка ради насыщения своей утробы; желуди и ягоды – вот все, что мне нужно. Моя подруга, подобно мне, будет довольствоваться той же пищей. Нашим ложем будут сухие листья; солнце будет светить нам, как светит и людям, и растить для нас плоды. Картина, которую я тебе рисую, – мирная и человеческая, и ты, конечно, сознаешь, что не можешь отвергнуть мою просьбу ради того, чтобы показать свою власть и жестокость. Как ты ни безжалостен ко мне, сейчас я вижу в твоих глазах сострадание. Дай мне воспользоваться благоприятным моментом, обещай мне то, чего я так горячо желаю.

– Ты предполагаешь, – отвечал я, – покинуть населенные места и поселиться в пустыне, где единственными твоими соседями будут дикие звери. Как сможешь ты, кто так страстно жаждет любви и привязанности людей, оставаться в изгнании? Ты вернешься и снова будешь искать их расположения и снова встретишься с их ненавистью. Твоя злоба разгорится вновь, а у тебя еще будет подруга, которая поможет тебе все сокрушать.

Этого не должно быть; не настаивай, ибо я все равно не могу согласиться.

– Как ты непостоянен в своих чувствах! Только мгновение назад ты был тронут моими доводами; зачем же, выслушав мои жалобы, ты снова ожесточаешься против меня? Клянусь землей, на которой я живу, и тобой – моим создателем, – что вместе с подругой, которую ты мне дашь, я удалюсь от людей и удовольствуюсь жизнью в самых пустынных местах. Злобные страсти оставят меня, ибо кто-то будет меня любить. Моя жизнь потечет спокойно, и в мой смертный час я не прокляну своего творца.

Его слова производили на меня странное действие. Порой во мне пробуждалось сострадание и являлось желание утешить его. Но стоило мне взглянуть на него и увидеть отвратительного уроды, который двигался и говорил, как все во мне переворачивалось и доброе чувство вытеснялось ужасом и ненавистью. Я пытался подавить их. Я говорил себе, что, хотя и не могу ему сочувствовать, однако не имею права отказывать в доле счастья, которую могу ему дать.

– Ты клянешься не приносить вреда, – сказал я, – но разве ты уже не обнаружил злобности, которая мешает мне поверить твоим словам? Как знать, может быть, все это одно притворство и ты будешь торжествовать, когда получишь более широкий простор для осуществления своей мести.

– Ах, вот как? Со мной нельзя шутить. Я требую ответа. Если у меня не будет привязанностей, я предамся ненависти и пороку. Любовь другого существа устранила бы причину моих преступлений, и никто обо мне ничего не услышал бы. Мои злодеяния порождены вынужденным одиночеством, которое мне ненавистно; мои добродетели непременно расцветут, когда я буду общаться с равным мне существом. Я буду ощущать привязанность мыслящего создания; я стану звеном в цепи всего сущего, в которой мне сейчас не находится места.

Я помолчал, размышляя над его рассказом и всеми его доводами. Я думал о добрых задатках, которые обнаружили у него в начале его жизненного пути, и о том, как все хорошее было уничтожено в нем отвращением и презрением, с которым к нему отнеслись его покровители. Подумал я также и об его физической мощи и его угрозах; создание, способное жить в ледяных пещерах и убегать от преследователей по краю неприступных пропастей, обладало такой силой, что с ним трудно было тягаться. После длительного раздумья я решил, что справедливость, как по отношению к нему, так и по отношению к моим ближним, требует, чтоб я согласился на его просьбу. Обратясь к нему, я сказал:

– Я исполню твоё желание, но ты должен дать торжественную клятву навсегда покинуть Европу и все другие населенные места, как только

получишь от меня женщину, которая разделит с тобой изгнание.

– Клянусь солнцем и голубым сводом небес, – воскликнул он, – клянусь огнем любви, горящим в моем сердце, что, исполнив мою просьбу, ты больше меня не увидишь, пока они существуют! Возвращайся домой и приступай к работе. Я буду следить за ее ходом с невыразимой тревогой; и будь уверен – как только все будет готово, я появлюсь.

Произнеся эти слова, он поспешно покинул меня, вероятно боясь, что я могу передумать. Я видел, как он спускался с горы быстрее, чем летит орел; вскоре он затерялся среди волнистого ледяного моря.

Рассказ его занял весь день; когда он удалился, солнце уже садилось. Я знал, что мне нужно не медля спускаться в долину, так как вскоре все погрузится в темноту; но на сердце у меня было тяжело, и это замедляло мой шаг. Поглощенный мыслями о событиях прошедшего дня, я с трудом пробирался по узким горным тропинкам, то и дело рискуя оступиться. Была уже глубокая ночь, когда я подошел к месту привала, лежащему на полпути, и присел около источника.

По временам в просветы между облаков светили звезды. Передо мной поднимались высокие сосны; кое-где они лежали поваленные. То была суровая картина, возбуждавшая во мне странные думы. Я горько заплакал. В отчаянии сжимая руки, я воскликнул: «О звезды, тучи и ветры! Вы насмехаетесь надо мной. Если вам действительно жаль меня, лишите меня чувств и памяти, превратите в ничто; если же вы этого не можете, исчезните и оставьте меня во тьме».

Это были бессвязные и мрачные думы. Не могу описать, как угнетало меня мерцание звезд, как я прислушивался к каждому порыву ветра, словно то был зловеющий сирокко, грозивший мне гибелью.

Уже рассвело, когда я пришел в деревню Шамуни; сразу же, не отдохнув, я направился в Женеву. Я не мог разобраться в обуревавших меня чувствах. На меня навалилась тяжесть, огромная, как гора; она притупляла даже мои страдания. В таком состоянии я вернулся домой и предстал перед родными. Мой изможденный вид возбудил сильную тревогу. Но я не отвечал ни на один вопрос и едва был в состоянии говорить. Я сознавал, что на мне тяготеет проклятие и я не имею права на сочувствие; мне казалось, что я никогда уже не буду наслаждаться общением с близкими. Однако я и теперь любил их самозабвенно. Ради их спасения я решил посвятить себя ненавистной мне работе. Все другие стороны жизни отступили, точно сон, перед перспективой этой работы. Только одна эта мысль и представлялась мне ясно.

Глава XVIII

Шли день за днем, неделя за неделей после моего возвращения в Женеву, а я все не мог набраться мужества и приступить к работе. Я страшился мести демона, обманутого в своих надеждах, но все еще не мог преодолеть отвращение к навязанному мне делу. Мне стало ясно, что я не могу создать женщину, не посвятив снова несколько месяцев тщательным исследованиям и изысканиям. Я слышал о некоторых открытиях, сделанных одним английским ученым; сведения о них могли иметь важное значение для успеха моей работы, и я иногда подумывал отпроситься у отца и посетить Англию в этих целях. Но я цеплялся за каждый предлог отложить разговор и уклонялся от первого шага, тем более что срочность дела начала казаться мне все более сомнительной. Во мне произошла перемена: мое здоровье, прежде подорванное, теперь окрепло; соответственно поднималось и мое настроение, когда оно не омрачалось мыслью о злополучном обещании. Отец мой с радостью наблюдал эту перемену и думал об одном: как бы найти наилучший способ развеять без остатка мою печаль, которая иногда возвращалась и затмевала восходившее солнце. В такие минуты я искал полного одиночества. Целые дни я проводил один в маленькой лодке на озере, молчаливый и безучастный, следя за облаками и прислушиваясь к плеску волн. Но свежий воздух и яркое солнце почти всегда восстанавливали в какой-то степени мой душевный покой. По возвращении я отвечал на приветствия своих близких более весело и не так натянуто.

Однажды после возвращения с такой прогулки отец, отозвав меня в сторону, обратился ко мне со следующими словами:

– Я с радостью замечая, милый сын, что ты вернулся к прежним любимым развлечениям и, как мне кажется, приходишь в себя. И, однако, ты все еще несчастен и все еще избегаешь нашего общества. Некоторое время я терялся в догадках о причине этого; но вчера меня осенила одна мысль, и, если она верна, я умоляю тебя открыться мне. Умолчание в таком деле не только бесполезно, но может навлечь на всех нас еще большие несчастья.

От такого вступления я задрожал всем телом, а отец продолжал:

– Сознаюсь, я всегда смотрел на твой брак с нашей милой Элизабет как на довершение нашего семейного благополучия и опору для меня в старости. Вы привязаны друг к другу с раннего детства; вы вместе учились

и по своим склонностям и вкусам вполне друг к другу подходите. Но людская опытность слепа, и то, что я считал наилучшим путем к счастью, может целиком его разрушить. Быть может, ты относишься к ней как к сестре, не имея ни малейшего желания сделать ее своей женой. Более того, возможно, что ты встретил другую девушку и полюбил ее; считая себя связанным словом чести с Элизабет, ты борешься со своим чувством, и это, по-видимому, причиняет тебе страдания.

– Дорогой отец, успокойтесь. Я люблю свою кузину нежно и искренне. Я никогда не встречал женщины, которая так же, как Элизабет, возбуждала бы во мне самое горячее восхищение и любовь. Мои надежды на будущее и все мои планы связаны с нашим предстоящим союзом.

– Твои слова, милый Виктор, доставляют мне радость, какую я давно не испытывал. Если таковы твои чувства, то мы, несомненно, будем счастливы, как бы ни печалили нас недавние события. Но именно этот мрак, который окутал твою душу, я хотел бы рассеять. А что, если не откладывать дальше вашей свадьбы? На нас обрушились несчастья; недавние события вывели нас из спокойствия, подобающего мне по моим летам и недугам. Ты моложе; но я не считаю, чтобы при твоём достатке ранний брак мог помешать выполнению любых намерений отличиться и послужить людям. Не подумай, однако, что я собираюсь навязывать тебе счастье и что отсрочка вызовет у меня беспокойство. Не ищи в моих словах какой-либо задней мысли и, умоляю тебя, отвечай мне доверчиво и искренне!

Я молча выслушал отца и в течение некоторого времени не мог отвечать. Множество мыслей пронеслось в моей голове. Я старался прийти к какому-либо решению. Увы! Немедленный союз с моей Элизабет внушал мне ужас и страх. Я был связан торжественным обещанием, которое еще не выполнил и которое не смел нарушить. А если бы я это сделал, какие несчастья нависли бы надо мной и моей обреченной семьей! Мог ли я праздновать свадьбу, когда на шее у меня висел смертельный груз, пригibasший меня к земле? Я должен был выполнить свое обязательство и дать возможность чудовищу скрыться вместе с его подругой, прежде чем мог насладиться счастьем союза, сулившего мне желанный покой.

Я вспомнил также о настоятельной необходимости либо поехать в Англию, либо завязать длительную переписку с теми из тамошних ученых, познания и открытия которых были крайне необходимы в предстоявшей мне работе. Второй способ получения желаемых сведений мог оказаться медленным и недостаточным. Кроме того, мне претила мысль заняться моей омерзительной работой в доме отца, при постоянном общении с теми,

кого я любил. Я знал, что возможна тысяча несчастных случайностей и самая ничтожная из них может раскрыть тайну, которая заставит трепетать от ужаса всех, кто со мною связан. Я признавал также, что часто буду терять самообладание и способность скрывать мучительные чувства, которые я буду испытывать во время своей ужасной работы. Выполняя ее, я должен был бы изолировать себя от всех, кого я любил. Раз начав ее, я быстро мог ее закончить и вернуться в семью, к мирному счастью. Если я выполню обещание, чудовище удалится навеки. А может быть (так рисовалось моей безрассудной фантазии), тем временем произойдет какая-либо катастрофа, которая уничтожит его и навсегда положит конец моему рабству.

Этими чувствами был продиктован мой ответ отцу. Я выразил желание посетить Англию; но, скрыв истинные причины этой просьбы, я сослался на обстоятельства, не вызывавшие подозрений, и так настаивал на необходимости поездки, что отец легко согласился. Он с удовольствием обнаружил, что после длительного периода мрачного уныния, почти что безумия, я способен радоваться предстоящей поездке; он надеялся, что перемена обстановки и разнообразные развлечения окончательно приведут меня в себя еще до возвращения домой.

Продолжительность моего отсутствия предоставили определить мне самому; предполагалось, что она составит несколько месяцев или, самое большее, год. Отец проявил нежную заботу, обеспечив меня спутником. Не сообщив мне об этом заранее, он уговорился с Элизабет и устроил так, что Клерваль должен был присоединиться ко мне в Страсбурге. Это мешало уединению, к которому я стремился для выполнения своего обязательства. Однако в начале моего путешествия присутствие друга ни в коем случае не могло быть помехой, и я искренне обрадовался, что таким образом мне удастся избежать многих часов одиноких раздумий, способных свести с ума. Более того, Анри мог служить преградой между мною и моим врагом. Если я буду один, не станет ли он время от времени навязывать мне свое отвратительное присутствие, чтобы напоминать мне о моей задаче или следить за ее выполнением?

Итак, я отправлялся в Англию, и было решено, что мой брак с Элизабет совершится немедленно по моем возвращении. Учитывая возраст отца, можно понять, с какой неохотой он соглашался на отсрочку. Что касается меня, была лишь одна награда, которую я обещал себе за ненавистный, тяжелый труд, одно утешение в моих беспримерных страданиях – то была надежда дождаться дня, когда, освобожденный от гнусного рабства, я смогу просить руки Элизабет и в союзе с ней забыть прошлое.

Я занялся сборами; но одна мысль преследовала меня и наполняла тревогой и страхом. На время своего отсутствия я оставлял своих близких, не подозревающих о существовании их врага и ничем не защищенных от его нападения, – а ведь мой отъезд должен был привести его в ярость. Правда, он обещал следовать за мною, куда бы я ни поехал; не будет ли он сопровождать меня и в Англию? Такая мысль была страшной сама по себе, но в то же время утешительной, ибо обеспечивала безопасность моих близких. Было бы хуже, если бы вышло наоборот. В течение всего времени, пока я был рабом своего создания, я действовал под влиянием момента, и теперь инстинкт настойчиво подсказывал мне, что демон последует за мною и не подвергнет опасности мою семью.

В конце сентября я снова покинул родную страну. Путешествие было предпринято по моему собственному желанию, и поэтому Элизабет не возражала; однако она была полна тревоги при мысли, что горе опять завладеет мной, а она будет далеко. Благодаря ее заботам я имел спутника в лице Клерваля; и все же мужчина остается слеп к тысяче житейских мелочей, требующих внимания женщины. Ей страстно хотелось просить меня вернуться скорее. Множество противоречивых чувств заставило ее молчать, и мы простились со слезами, но без слов.

Я сел в дорожный экипаж, едва сознавая, куда я направляюсь, равнодушный к тому, что происходило вокруг. Я вспомнил только – и с какой горечью! – о моих химических приборах и распорядился, чтоб их упаковали мне в дорогу. Полный самых безотрадных мыслей, я проехал многие прекрасные места; мои глаза, устремленные в одну точку, ничего не замечали. Я мог думать только о цели своего путешествия и о работе, которой предстояло занять все мое время.

После нескольких дней, проведенных в апатичной праздности, в течение которых я проехал много лье, я прибыл в Страсбург, где два дня дожидался Клерваля. Наконец он прибыл. Увы! Какой контраст составляли мы между собой! Он вдохновлялся каждым новым видом, преисполнялся радостью, созерцая красоту заходящего солнца, но еще более радовался его восходу и наступлению нового дня. Он обращал мое внимание на сменяющиеся краски ландшафта и неба. «Вот для чего стоит жить! – восклицал он. – Вот когда я наслаждаюсь жизнью! Но ты, милый Франкенштейн, почему ты так подавлен и печален?» Действительно, голова моя была занята мрачными мыслями, и я не видел ни захода вечерней звезды, ни золотого восхода солнца, отраженного в Рейне. И вы, мой друг, получили бы гораздо большее удовольствие, читая дневник Клерваля, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои

размышления. Ведь я – несчастное существо, надо мной тяготеет проклятие, закрывшее для меня все пути к радости.

Мы решили спуститься по Рейну от Страсбурга до Роттердама, а оттуда отправиться в Лондон. Во время этого путешествия мы проплыли мимо множества островов, заросших ивняком, и увидели несколько красивых городов. Мы остановились на день в Мангейме, а на пятый день после отплытия из Страсбурга прибыли в Майнц. Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными. Течение реки убыстряется, она извивается между невысокими, но крутыми, красиво очерченными холмами. Мы видели многочисленные развалины замков, стоящие на краю высоких и неприступных обрывов, окруженные темным лесом. В этой части Рейна ландшафты необычайно разнообразны. То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, на дне которой мчатся темные воды Рейна; а то вдруг в излучине реки на мысу возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами и людные города.

Наше путешествие пришлось на время сбора винограда; скользя по воде, мы слушали песни виноградарей. Даже я, подавленный тоской, обуреваемый мрачным предчувствием, слушал их с удовольствием. Я лежал на дне лодки и, глядя в безоблачное синее небо, словно впитывал в себя покой, который так долго был мне неведом. Если даже мною овладевали такие чувства, кто сможет описать чувства Анри? Он словно очутился в стране чудес и упивался счастьем, какое редко дается человеку. «Я видел, – говорил он, – самые прекрасные пейзажи моей родины, я посетил озера Люцерн и Ури, где снежные горы почти отвесно спускаются к воде, бросая на нее темные, непроницаемые тени, которые придавали бы озеру очень мрачный вид, если бы не веселые зеленые островки, радующие взор; я видел эти озера в бурю, когда ветер вздымал и кружил водяные вихри, так что можно было представить себе настоящий смерч на просторах океана; я видел, как волны яростно бросались к подножью горы, где снежный обвал однажды застиг священника и его наложницу, – говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышны в завывании ночного ветра; я видел горы Ля Вале и Пэи де Во. И все же здешний край, Виктор, нравится мне больше, чем все наши чудеса. Швейцарские горы более величественны и необычны; но берега этой божественной реки таят в себе некое очарование и не сравнимы для меня ни с чем, виденным прежде. Взгляни на замок, который повис вон там, над обрывом, или на тот, на острове, почти скрытый в листве деревьев; а вот виноградары, возвращающиеся со своих виноградников; а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой, более

созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники или обитающие на неприступных горных вершинах нашей родины».

Клерваль! Любимый друг! Я и сейчас с восторгом повторяю твои слова и возношу тебе хвалу, которую ты так заслужил. Это был человек, словно созданный самой поэзией природы. Его бурная, восторженная фантазия сдерживалась чувствительностью его сердца. Он был способен горячо любить; в дружбе он проявлял ту преданность, которая, если верить житейской мудрости, существует лишь в нашем воображении. Но человеческие привязанности не могли всецело заполнить его пылкую душу. Природу, которой другие только любят, он любил страстно.

...Грохот водопада
Был музыкой ему. Крутой утес,
Вершины гор, густой и темный лес,
Их контуры и краски вызывали
В нем истинную, пылкую любовь.
Он не нуждался в доводах рассудка,
Чтоб их любить. Что радовало взор,
То трогало и душу... [\[5\]](#)

Где же он теперь? Неужели этот прекрасный, благородный человек исчез без следа? Неужели этот высокий ум, это богатство мыслей, это причудливое и неистощимое воображение, творившее целые миры, которые зависели от жизни своего создателя, – неужели все это погибло? Неужели он теперь живет лишь в моей памяти? Нет, это не так! Твое тело, столь совершенное и сиявшее красотой, стало прахом; но дух твой еще является утешать твоего несчастного друга.

Простите мне эти скорбные излияния. Мои слова – всего лишь слабая дань беспримерным достоинствам Анри, но они успокаивают мое сердце, утоляют боль, которую вызывает память о нем. Теперь я продолжу свой рассказ.

За Кельном мы спустились на равнины Голландии. Остаток нашего пути мы решили проделать по суше, так как ветер был противным, а течение слишком слабым, чтобы помочь нам.

В этом месте наше путешествие стало менее интересным с точки зрения красот природы, но уже через несколько дней мы прибыли в Роттердам, откуда продолжали путь морем в Англию. В одно ясное утро, в конце декабря, я впервые увидел белые скалы Британии. Берега Темзы

представляли совершенно новый для нас пейзаж: они были плоскими, но плодородными; почти каждый город был отмечен каким-либо преданием. Мы увидели форт Тильбюри и вспомнили испанскую Армаду; потом Грэйвсенд, Вулвич и Гринвич – места, о которых я слышал еще на родине.

Наконец нашим взорам открылись бесчисленные шпили Лондона, возвышающийся над всем купол Св. Павла и знаменитый в английской истории Тауэр.

Глава XIX

Нашим пунктом назначения был Лондон: мы решили провести в этом удивительном и прославленном городе несколько месяцев. Клерваль хотел познакомиться со знаменитостями того времени, но для меня это было второстепенным. Я был больше всего озабочен получением сведений, необходимых для выполнения моего обещания, и поспешил пустить в ход захваченные с собой рекомендательные письма, адресованные самым выдающимся естествоиспытателям.

Если бы это путешествие было предпринято в счастливые дни моего учения, оно доставило бы мне невыразимую радость. Но на мне лежало проклятие; и я посещал этих людей, только чтобы получить сведения о предмете, имевшем для меня роковой интерес. Общество меня тяготило; оставшись один, я мог занять свое внимание картинами природы; голос Анри успокаивал меня, и я обманывал себя краткой иллюзией покоя. Но чужие лица, озабоченные, равнодушные или довольные, снова вызывали во мне отчаяние. Я чувствовал, что между мною и другими людьми воздвигался непреодолимый барьер. Эта стена была скреплена кровью Уильяма и Жюстины; воспоминания о событиях, связанных с этими именами, были мне тяжелой мукой.

В Клервале я видел отражение моего прежнего я. Он был любознателен и нетерпеливо жаждал опыта и знаний. Различные обычаи, которые он наблюдал, он находил и занимательными и поучительными. Кроме того, он преследовал цель, которую давно себе наметил. Он решил посетить Индию, уверенный, что со своим знанием ее различных языков и ее жизни он сможет немало способствовать прогрессу европейской колонизации и торговли. Только в Англии он мог ускорить выполнение своего плана. Он был постоянно занят; единственно, что его огорчало, были моя грусть и подавленность. Я старался, насколько возможно, скрывать их от него, чтобы не лишать его удовольствий, столь естественных для человека, вступающего на новое жизненное поприще и не отягощенного заботами или горькими воспоминаниями. Часто я отказывался сопровождать его, ссылаясь на то, что приглашен в другое место, или изыскивая еще какой-нибудь предлог, чтобы остаться одному. В это время я начал собирать материалы, необходимые для того, чтобы произвести на свет мое новое создание; этот процесс был для меня мучителен, подобно той пытке водою, когда капля за каплей равномерно

падает на голову. Каждая мысль, посвященная моей задаче, причиняла невыносимые страдания; каждое произносимое мною слово, пускай даже косвенно связанное с моей задачей, заставляло мои губы дрожать, а сердце – учащенно биться.

Через несколько месяцев по прибытии в Лондон мы получили письмо из Шотландии от одного человека, который бывал прежде нашим гостем в Женеве. Он описывал свою страну и убеждал нас, что, хотя бы ради ее красот, необходимо продолжать наше путешествие на север, до Перта, где он проживал. Клервалю очень хотелось принять это приглашение; да и мне, хоть я и сторонился людей, захотелось снова увидеть горы, потоки и все удивительные творения, которыми природа украсила свои излюбленные места.

Мы прибыли в Англию в начале октября, а теперь уже был февраль. Поэтому мы решили предпринять путешествие на север в исходе следующего месяца. В этой поездке мы, вместо того чтобы следовать по главной дороге прямо до Эдинбурга, решили заехать в Виндзор, Оксфорд, Матлок и на Кимберлендские озера, рассчитывая прибыть к цели путешествия в конце июля. Я упаковал химические приборы и собранные материалы, решив закончить свою работу в каком-либо уединенном местечке на северных плоскогорьях Шотландии.

Мы покинули Лондон 27 марта и пробыли несколько дней в Виндзоре, бродя по его прекрасному лесу. Для нас, горных жителей, природа этих мест казалась такой непривычной: могучие дубы, обилие дичи и стада величавых оленей – все было в новинку.

Оттуда мы проследовали в Оксфорд. При въезде в этот город нас охватили воспоминания о событиях, происшедших там более полутора столетий тому назад. Здесь Карл I собрал свои силы. Этот город оставался ему верным, когда вся страна отступилась от него и стала под знамена парламента и свободы. Память о несчастном короле и его сподвижниках, о добродушном Фолкленде, дерзком Горинге, о королеве и ее сыне придавала особый интерес каждой части города, где они, может быть, жили. Здесь пребывал дух старины, и мы с наслаждением отыскивали ее следы. Но если бы воображение, вдохновляемое этими чувствами, и не нашло здесь для себя достаточной пищи, то сам по себе город был настолько красив, что вызывал в нас восхищение. Здания колледжей дышат стариной и очень живописны; улицы великолепны, а прекрасная Изис, текущая близ города по восхитительным зеленым лугам, широко и спокойно разливает свои воды, в которых отражается величественный ансамбль башен, шпили и купола, окруженные вековыми деревьями.

Я наслаждался этой картиной; и все же радость моя омрачалась воспоминанием о прошлом и мыслями о будущем. Я был создан для мирного счастья. В юношеские годы я не знал недовольства. И если когда-либо меня одолевала тоска, то созерцание красот природы или изучение прекрасных и возвышенных творений человека всегда находило отклик в моем сердце и подымало мой дух. Теперь же я был подобен дереву, сраженному молнией; она пронзила мне душу насквозь; и я уже чувствовал, что мне предстояло остаться лишь подобием человека и являть жалкое зрелище распада, вызывающее сострадание у других и невыносимое для меня самого.

Мы провели довольно долгое время в Оксфорде, блуждая по его окрестностям и стараясь опознать каждый уголок, который мог быть связан с интереснейшим периодом английской истории. Наши маленькие экскурсии часто затягивались из-за все новых достопримечательностей, неожиданно открываемых нами. Мы посетили могилу славного Хемпдена и поле боя, на котором пал этот патриот. На какой-то миг моя душа вырвалась из тисков унижительного и жалкого страха, чтобы осмыслить высокие идеи свободы и самопожертвования, увековеченные в этих местах. На какой-то миг я отважился сбросить свои цепи и оглядеться вокруг свободно и гордо. Но железо цепей уже разъело мою душу, и я снова, дрожа и отчаиваясь, погрузился в свои переживания.

С сожалением покинули мы Оксфорд и направились в Матлок, к нашему следующему привалу. Местность вокруг этого селения напоминает швейцарские пейзажи, но все здесь в меньшем масштабе; зеленым холмам недостает венца далеких снежных Альп, всегда украшающего лесистые горы моей родины. Мы посетили удивительную пещеру и миниатюрные музеи естественной истории, где редкости расположены таким же образом, как и в собраниях Серво и Шамуни. Последнее название вызвало у меня дрожь, когда Анри произнес его вслух; и я поспешил покинуть Матлок, с которым связалось для меня ужасное воспоминание.

Из Дерби мы продолжили путь далее на север и провели два месяца в Кимберленде и Вестморленде. Теперь я почти мог вообразить себя в горах Швейцарии. Небольшие участки снега, задержавшегося на северных склонах гор, озера, бурное течение горных речек – все это было мне привычно и дорого моему сердцу. Здесь мы также завели некоторые знакомства, которые почти вернули мне способность быть счастливым; Клерваль воспринимал все с гораздо большим восхищением, чем я. Он блистал в обществе талантливых людей и обнаружил в себе больше способностей и возможностей, чем когда вращался среди тех, кто стоял

ниже его. «Я мог бы провести здесь всю жизнь, – говорил он мне. – Среди этих гор я вряд ли сожалел бы о Швейцарии и Рейне».

Однако он находил, что в жизни путешественника наряду с удовольствиями существует много невзгод. Ведь он постоянно находится в напряжении, и едва начинает отдыхать, как вынужден покинуть ставшие приятными места в поисках чего-то нового, что снова занимает его внимание, а затем, в свою очередь, отказываться и от этого ради других новинок.

Мы едва успели посетить разнообразные озера Кимберленда и Вестморленда и сдружиться с некоторыми из их обитателей, когда приблизился срок нашей встречи с шотландским другом; мы покинули своих новых знакомых и продолжили путешествие. Что касается меня, то я этим не огорчился. Я некоторое время пренебрегал своим обещанием и теперь опасался гнева обманутого демона. Возможно, он остался в Швейцарии, чтобы обрушить свою месть на моих близких. Эта мысль преследовала и мучила меня даже в те часы, которые могли дать мне отдых и покой. Я ожидал писем с лихорадочным нетерпением: когда они запаздывали, я чувствовал себя несчастным и терзался бесконечными страхами, а когда они прибывали и я видел адрес, написанный рукой Элизабет или отца, я едва осмеливался прочесть их и узнать свою судьбу. Иногда мне казалось, что демон следует за мной и может отомстить за мою медлительность убийством моего спутника. Когда мною овладевали эти мысли, я ни на минуту не оставлял Анри и следовал за ним словно тень, стремясь защитить его от воображаемой ярости его губителя. Я словно совершил тяжкое преступление, думы о котором преследовали меня. Я не был преступником, но навлек на свою голову страшное проклятье, точно действительно совершил преступление.

Я прибыл в Эдинбург в состоянии полной апатии; а ведь этот город мог бы заинтересовать самое несчастное существо. Клервалю он понравился меньше, чем Оксфорд: тот привлекал его своей древностью. Однако красота и правильная планировка нового Эдинбурга, его романтический замок и окрестности, самые восхитительные в мире: Артурово Кресло, источник св. Бернарда и Пентландская возвышенность привели его в восторг и исправили первое впечатление. Я же нетерпеливо ждал конца путешествия.

Через неделю мы покинули Эдинбург, проследовав через Кьюпар, Сент-Эндрюс и вдоль берегов Тэй до Перта, где нас ожидал наш знакомый. Но я не был расположен шутить и беседовать с посторонними или разделять с ними их чувства и планы с любезностью, подобающей гостю.

Поэтому я объявил Клервалю о своем желании одному совершить поездку по Шотландии. «Развлекайся сам, – сказал я ему, – а здесь будет место нашей встречи. Я могу отсутствовать один-два месяца; но умоляю тебя не мешать моим передвижениям; оставь меня на некоторое время в покое и одиночестве, а когда я вернусь, я надеюсь быть веселее и более под стать тебе».

Анри пытался было отговорить меня, но, убедившись в моей решимости, перестал настаивать. Он умолял меня чаще писать. «Я охотнее последовал бы за тобой в твоих странствиях, – сказал он, – чем ехать к этим шотландцам, которых я не знаю; постарайся вернуться поскорее, дорогой друг, чтоб я снова мог чувствовать себя как дома, а это невозможно в твоём отсутствии».

Расставшись со своим другом, я решил найти какое-нибудь уединенное место в Шотландии и там, в одиночестве, завершить свой труд. Я не сомневался, что чудовище следует за мной по пятам и, как только я закончу работу, предстанет передо мной, чтобы получить от меня свою подругу.

Придя к такому решению, я пересек северное плоскогорье и выбрал для своей работы один из дальних Оркнейских островов. Это было подходящее место для подобного дела – высокий утес, о который постоянно бьют волны. Почва там бесплодна и родит только траву для нескольких жалких коров да овес для жителей, которых насчитывается всего пять; их изможденные, тощие тела наглядно говорят об их жизни. Овощи и хлеб, когда они позволяют себе подобную роскошь, и даже свежую воду приходится доставлять с большого острова, лежащего на расстоянии около пяти миль.

На всем острове было лишь три жалкие хижин; одна из них пустовала, когда я прибыл. Эту хижину я и снял. В ней было всего две комнаты, и она являла чрезвычайно убогий вид. Соломенная крыша провалилась, стены были неоштукатурены, а дверь сорвана с петель. Я распорядился починить хижину, купил кой-какую обстановку и вступил во владение; эти обстоятельства должны были, безусловно, удивить здешних обитателей, если бы все чувства не были у них притуплены жалкой бедностью. Как бы то ни было, я жил, не опасаясь любопытных взглядов и помех и едва получая благодарность за пищу и одежду, которые я раздавал: до такой степени страдания заглушают в людях простейшие чувства.

В этом убежище я посвящал утренние часы работе; в вечернее же время, когда позволяла погода, я совершал прогулки по каменистому берегу моря, прислушиваясь к реву волн, разбивавшихся у моих ног. Картина была однообразна, но вместе с тем изменчива. Я думал о Швейцарии; как

непохожа она на этот неприветливый, угрюмый ландшафт! Ее возвышенности покрыты виноградниками, а в долинах разбросаны дома. Ее дивные озера отражают голубое, кроткое небо; а когда ветер вздымает на них волны, это всего лишь веселая ребячья игра по сравнению с ревом гигантского океана.

Так я распределил часы своих занятий в первое время. Но моя работа становилась для меня с каждым днем все более страшной и тягостной. Иногда я в течение нескольких дней не мог заставить себя войти в свою лабораторию; а бывало, что я работал днем и ночью, стремясь закончить работу скорее. И действительно, занятие было отвратительное. Во время первого моего эксперимента меня ослепляло некое восторженное безумие, не дававшее мне почувствовать весь ужас моих поисков; мой ум был целиком устремлен на завершение работы, и я закрывал глаза на ее ужасные подробности. Но теперь я шел на все это хладнокровно и часто чувствовал глубочайшее отвращение.

За этим омерзительным делом, в полном одиночестве, когда ничто ни на миг не отвлекало меня от моей задачи, мое настроение стало неровным: я сделался беспокойным и нервным. Я ежеминутно боялся встретиться со своим преследователем. Иногда я сидел, устремив взгляд на землю, боясь поднять его и увидеть того, кого так страшился увидеть. Я боялся удаляться от людей, чтобы он не застал меня одного и не потребовал свою подругу.

Тем временем я продолжал работу, и она уже значительно продвинулась. Я ожидал ее окончания с трепетной и нетерпеливой надеждой, которую не осмеливался выразить самому себе, но которая смешивалась с мрачными предчувствиями беды, заставлявшими замирать мое сердце.

Глава XX

Однажды вечером я сидел в своей лаборатории; солнце зашло, а луна только еще поднималась над морем. Света было недостаточно для занятий, и я сидел празднично, размышляя, оставить ли все до утра или спешить с окончанием и работать не отрываясь. И тут меня охватили мысли о возможных последствиях моего предприятия. За три года до того я был занят тем же делом и создал дьявола, чьи беспримерные злодеяния истерзали мне душу и наполнили ее навеки горьким раскаянием. А теперь я создаю другое существо, о склонностях которого я так же, как тогда, ничего не знаю; оно может оказаться в тысячу раз злее своего друга и находить удовольствие в убийствах и жестокости. Он поклялся покинуть населенные места и укрыться в пустыне; но она такой клятвы не давала; она будет, по всей вероятности, существом мыслящим и разумным и может отказаться выполнять уговор, заключенный до ее создания. Возможно, что они возненавидят друг друга. Уже созданное мною существо ненавидит собственное уродство; не почувствует ли оно еще большее отвращение, когда такое же безобразие предстанет ему в образе женщины? Да и она может отвернуться от него с омерзением, увидев красоту человека. Она может покинуть его, и он снова окажется одиноким и еще более разъяренным новой обидой, на этот раз со стороны себе подобного существа.

Даже если они покинут Европу и поселятся в пустынях Нового Света, одним из первых результатов привязанности, которой жаждет демон, будут дети, и на земле расплодится целая раса демонов, которая может создать опасность для самого существования человеческого рода. Имею ли я право, ради собственных интересов, обрушить это проклятие на бесчисленные поколения людей? Я был прежде тронут софизмами созданного мною существа, я был обескуражен его дьявольскими угрозами; но теперь мне впервые предстала безнравственность моего обещания. Я содрогнулся при мысли, что будущие поколения будут клясть меня как их губителя, как себялюбца, который не поколебался купить собственное благополучие, быть может, ценой гибели всего человеческого рода.

Я задрожал, охваченный смертельной тоской. И тут, подняв глаза, я увидел при свете луны демона, заглядывающего в окно. Отвратительная усмешка скривила его губы, когда он увидел меня за выполнением порученной им работы. Да, он следовал за мной в моем путешествии; он

бродил в лесах, прятался в пещерах или в пустынных степях; а теперь явился посмотреть, как подвигается дело, и потребовать выполнения моего обещания.

Сейчас выражение его лица выдавало крайнюю степень злобы и коварства. Я с ужасом подумал о своем обещании создать другое подобное ему существо и, дрожа от гнева, разорвал на куски предмет, над которым трудился. Негодяй увидел, как я уничтожаю творение, с которым он связывал свои надежды на счастье, и с воплем безумного отчаяния и злобы исчез.

Я вышел из комнаты и, заперев дверь, дал себе торжественную клятву никогда не возобновлять эту работу; неверными шагами я побрел в свою спальню. Я был один; вблизи не было никого, чтобы рассеять мрак и освободить меня от тяжкого гнета моих ужасных дум.

Прошло несколько часов, а я все сидел у окна, глядя на море; оно было почти спокойно, ибо ветер стих, и вся природа спала под взглядом тихой луны. По воде плыло несколько рыболовных судов, и время от времени легкий ветер приносил звуки голосов; это перекликались рыбаки. Я чувствовал тишину, хотя едва ли сознавал, как безмерно она глубока, но вдруг до моих ушей донесся всплеск весел вблизи берега, и кто-то причалил у моего дома.

Через несколько минут я услышал скрип двери, будто ее пытались тихонько открыть. Я задрожал всем телом. Предчувствие подсказало мне, кто это мог быть; у меня было желание позвать кого-либо из крестьян, живших в хижине недалеко от меня. Но я был подавлен чувством беспомощности, которое так часто ощущаешь в страшных снах, когда напрасно пытаешься убежать от грозящей опасности; и какая-то сила пригвоздила меня к месту.

Тотчас же я услышал шаги в коридоре; дверь отворилась, и демон, которого я так боялся, появился на пороге. Закрыв дверь, он приблизился ко мне и сказал, задыхаясь:

– Ты уничтожил начатую работу, что это значит? Неужели ты осмеливаешься нарушить свое обещание? Я испытал много лишений; я покинул Швейцарию вместе с тобой; я пробирался вдоль берегов Рейна, через заросшие ивняком острова и вершины гор. Я провел многие месяцы на голых равнинах Англии и Шотландии. Я терпел холод, голод и усталость; и ты отважишься обмануть мои надежды?

– Убирайся прочь! Да, я отказываюсь от своего обещания; никогда я не создам другое существо, подобное тебе, такое же безобразное и жестокое.

– Раб, до сих пор я рассуждал с тобой, но ты показал себя

недостойным такой снисходительности. Помни, что я могуч. Ты уже считаешь себя несчастным, а я могу сделать тебя таким жалким и разбитым, что ты возненавидишь дневной свет. Ты мой создатель, но я твой господин. Покорись!

– Час моих колебаний прошел, и наступил конец твоей власти. Твои угрозы не заставят меня совершить злое дело; наоборот, они подтверждают мою решимость не создавать для тебя сообщницы в злодеяниях. Неужели я хладнокровно выпущу на свет демона, находящего удовольствие в убийстве и жестокости? Ступай прочь! Решение мое непоколебимо, и твои слова только усиливают мою ярость.

Чудовище прочло на моем лице решимость и заскрежетало зубами в бессильной злобе.

– Каждый мужчина, – воскликнул он, – находит себе жену, каждый зверь имеет самку, а я должен быть одинок! Мне присущи чувства привязанности, а в ответ я встретил отвращение и презрение. Человек! Ты можешь меня ненавидеть, но берегись! Твои дни будут полны страха и горя, и скоро обрушится удар, который унесет твое счастье навеки. Неужели ты надеешься быть счастливым, когда я безмерно несчастен? Ты можешь убить другие мои страсти, но остается месть, которая впредь будет мне дороже света и пищи. Я могу погибнуть; но сперва ты, мой тиран и мучитель, проклянешь солнце – свидетеля твоих страданий. Остерегайся, ибо я бесстрашен и поэтому всемогущ. Я буду подкарауливать тебя с хитростью змеи, чтобы смертельно ужалить. Смотри, ты раскиснешь в причиненном мне зле.

– Довольно, дьявол, не отравляй воздух злобными речами. Я объявил тебе свое решение, и я не трус, чтобы испугаться угроз. Оставь меня, я непреклонен.

– Ладно, я уйду; но запомни, я буду с тобой в твою брачную ночь.

Я подался вперед и воскликнул:

– Негодяй! Раньше чем выносить мне смертный приговор, убедись, находишься ли ты сам в безопасности!

Я схватил бы его, но он ускользнул от меня и стремительно выбежал из дома. Через несколько мгновений я увидел его в лодке, рассекавшей воду с быстротой стрелы; вскоре она затерялась среди волн.

Снова наступила тишина; но его слова звенели у меня в ушах. Я кипел яростным желанием броситься вслед за губителем моего покоя и низвергнуть его в океан. Я быстро и встревоженно шагал взад и вперед по комнате, и в моем воображении возникали тысячи страшных картин. Зачем я не погнался за ним и не схватился с ним насмерть? Я дал ему уйти, и он

отправился на материк. Я дрожал при мысли о том, кто может стать очередной жертвой его ненасытной мести. Тут я вспомнил его слова: «*Я буду с тобой в твою брачную ночь*». Итак, этот час назначен для свершения моей судьбы. В этот час я умру и сразу же удовлетворю и погашу его злобу. Эта перспектива не вызвала во мне страха; но когда я подумал о любимой Элизабет, представил себе ее слезы и беспредельное горе, если ее возлюбленный будет злодейски вырван из ее объятий, то впервые за многие месяцы из глаз моих брызнули слезы; и я решил не сдаваться врагу без жестокой борьбы.

Прошла ночь, и солнце поднялось из океана; я немного успокоился, если можно назвать спокойствием состояние, когда неистовая ярость переходит в глубокое отчаяние. Я покинул дом, где прошедшей ночью разыгралась страшная сцена, и направился к берегу моря, которое казалось мне почти непреодолимой преградой между мной и людьми; мне даже захотелось, чтобы так и было. Мне захотелось провести свою жизнь на этой голой скале, правда, жизнь трудную, но защищенную от внезапных бедствий. Если я уеду отсюда, придется умереть самому или увидеть, как те, кого я любил больше всего на свете, гибнут в железных тисках созданного мною дьявола.

Я бродил по острову, точно беспокойный призрак, разлученный со всеми, кого я любил, и несчастный в этой разлуке. Когда наступил полдень и солнце поднялось выше, я лег в траву, и меня одолел глубокий сон. Всю предшествующую ночь я бодрствовал, нервы мои были возбуждены, а глаза воспалены ночным бдением и тоской. Сон, овладевший теперь мною, освежил меня; когда я проснулся, я снова почувствовал, что принадлежу к человеческому роду, состоящему из подобных мне существ, и я начал размышлять о случившемся с большим спокойствием. Но слова дьявола еще отдавались в моих ушах, словно похоронный звон; они казались сновидением, но отчетливым и гнетущим, как действительность.

Солнце заметно опустилось, а я все еще сидел на берегу, утоляя мучивший меня голод овсяной лепешкой. Тут я увидел, что близко от меня причалила рыбацья лодка; один из людей принес мне пакет. В нем были письма из Женевы, а вместе с ними и письмо от Клерваля, умолявшего меня присоединиться к нему. Он писал, что там, где он находится, он проводит время впустую; друзья, которых он приобрел в Лондоне, в своих письмах просят его вернуться, чтобы закончить переговоры, начатые ими по поводу его путешествия в Индию. Он не может больше откладывать свой отъезд; а так как вслед за поездкой в Лондон должно состояться, и даже скорее, чем он предполагал, более длительное путешествие, то он

умолял меня побыть с ним возможно больше времени. Он настойчиво просил меня покинуть мой уединенный остров и встретиться с ним в Перте, чтобы затем вместе ехать на юг. Это письмо заставило меня немного очнуться, и я решил покинуть остров через два дня.

Однако до отъезда необходимо было выполнить одно дело, о котором я боялся и подумать: надо было упаковать мои химические приборы; а для этой цели мне предстояло войти в комнату, где я занимался ненавистным мне делом, и взять в руки инструменты, один вид которых вызывал во мне отвращение. На следующий день на рассвете я призвал на помощь все свое мужество и отпер дверь лаборатории. Остатки наполовину законченного создания, растерзанного мною на куски, валялись на полу; у меня было почти такое чувство, словно я расчленил на части живое человеческое тело. Я выждал, чтоб собраться с силами, а затем вошел в комнату. Дрожащими руками я вынес оттуда приборы и тут же подумал, что не должен оставлять следов своей работы, которые могут возбудить ужас и подозрения крестьян. Поэтому я уложил остатки в корзину вместе с большим количеством камней и решил выбросить их в море той же ночью. Пока же я сел на берегу и занялся чисткой и приведением в порядок моих химических приборов.

Ничто не могло быть резче перемены, происшедшей в моих чувствах с той ночи, когда передо мной появился демон. Раньше я относился к своему обещанию с мрачным отчаянием, как к чему-то такому, что, невзирая на возможные последствия, должно быть выполнено; теперь же мне казалось, что с моих глаз упала пелена и я впервые стал ясно видеть. Ни на миг не приходила мне в голову мысль о возобновлении моей работы; угрозы, которые я выслушал, угнетали меня, но я не допускал мысли сознательно пойти на то, чтобы отвратить удар. Я решил, что создание второго существа, подобного дьяволу, сотворенному мною в первый раз, будет актом самого подлого и жестокого эгоизма, и гнал прочь всякую мысль, которая могла бы привести к иным выводам.

Между двумя и тремя часами утра вошла луна; тогда я, взяв корзину на борт небольшого ялика, отплыл почти за четыре мили от берега. Все было безлюдно; несколько лодок возвращалось к берегу, но я отплыл подальше от них. Мне казалось, что я совершаю страшное преступление, и я с ужасом избегал встречи с людьми. Луну, которая ясно светила, вдруг закрыло густое облако, и я, воспользовавшись темнотой, выбросил корзину в море. Я прислушался к бульканью, с каким она погружалась, а затем отплыл от этого места. На небе появились облака, но воздух был чист, хотя и прохладен от поднявшегося северо-восточного ветра. Он освежил меня и

наполнил такими приятными чувствами, что я решил остаться некоторое время в море. Установив руль в прямом направлении, я растянулся на дне лодки. Луна спряталась за облака, все покрылось мраком, и я слышал лишь плеск воды под килем, резавшим волны; это журчание убаюкало меня, и вскоре я крепко заснул.

Не знаю, как долго я спал, но когда проснулся, оказалось, что солнце стояло уже довольно высоко. Ветер крепчал, а волны непрерывно угрожали безопасности моей крохотной лодки. Я заметил, что ветер был северо-восточным; он отнес меня далеко от берега, где я сел в лодку. Я попытался изменить курс, но тотчас же убедился, что, если повторю такую попытку, лодка мгновенно наполнится водой. При таких обстоятельствах единственный выход состоял в том, чтобы идти по ветру. Признаюсь, меня охватил страх. У меня не было с собой компаса, а мои познания в географии этой части света были настолько скудны, что положение солнца мало могло мне подсказать. Меня могло вынести в открытый океан, где я переживу все мучения голодной смерти или буду поглощен бездонными водами, которые ревели и бились вокруг меня. Я уже провел в море много часов и чувствовал мучительную жажду – предвестие других моих страданий. Я взглянул на небо, где облака, гонимые ветром, непрерывно сменялись другими облаками. Я взглянул на море; оно должно было стать моей могилой. «Дьявол! – воскликнул я. – Твоя угроза уже приведена в исполнение!» Я подумал об Элизабет, о моем отце и Клервале; всех их я оставлял, и чудовище могло обратить на них свою кровавую жестокость. От этой мысли я погрузился в такое отчаяние и ужас, что даже теперь, когда все живое скоро навеки исчезнет для меня, я весь дрожу при одном этом воспоминании.

Так протекло несколько часов; но, по мере того как солнце склонялось к горизонту, ветер стихал, переходя в легкий бриз, и буруны на море исчезли. Зато началась мертвая зыбь; я чувствовал тошноту и едва был в состоянии удерживать руль, когда вдруг увидел на юге высокую линию берега.

Хотя я был истощен усталостью и томительной неизвестностью, которую испытывал в течение нескольких часов, эта неожиданная уверенность в спасении подступила теплой волной радости к самому моему сердцу, и слезы хлынули из моих глаз.

Как изменчивы наши чувства и как удивительна цепкая любовь к жизни даже в минуты тягчайшего горя! Я соорудил второй парус, используя часть своей одежды, и стал править к берегу. Он был дикий и скалистый; но, очутившись ближе, я сразу заметил, что он обитаем. Я

увидел около берега суда и почувствовал, что вернулся в лоно цивилизации. Я пристально всматривался в береговую линию и с радостью увидел шпиль, который наконец показался из-за небольшого мыса. Так как я был крайне слаб, я решил плыть прямо к городу, где мог легче достать себе пищу. К счастью, у меня оказались с собой деньги. Обогнув мыс, я увидел небольшой чистый городок и хорошую гавань, в которую вошел с бьющимся сердцем, радуясь неожиданному спасению.

Пока я привязывал лодку и убирал паруса, около меня собралось несколько человек. Они, казалось, были очень удивлены моим появлением; но, вместо того чтобы предложить мне помощь, они шептались между собой, сопровождая это жестикуляцией, которая в любое другое время могла бы вызвать у меня некоторую тревогу. Как бы то ни было, я услышал, что они говорят по-английски, и поэтому обратился к ним на том же языке.

– Добрые друзья, – сказал я, – не откажитесь сообщить мне название этого города и объяснить, где я нахожусь?

– Скоро узнаешь, – ответил один из них хриплым голосом. – Возможно, что наши места придутся тебе не совсем по вкусу; но об этом тебя никто не станет спрашивать, – это уж будь уверен.

Я был крайне удивлен, получив такой грубый ответ от незнакомца; меня смутили также хмурые, злые лица его спутников.

– Почему вы так грубо отвечаете? – спросил я. – Это непохоже на англичан – так негостеприимно встречать чужестранцев.

– Не знаю, – ответил он, – что принято у англичан, но у ирландцев преступников не жалуют.

Пока происходил этот странный диалог, я заметил, что толпа быстро увеличивается. Лица людей выражали смесь любопытства и гнева, что рассердило и несколько встревожило меня. Я спросил дорогу в гостиницу, но никто мне не ответил. Тогда я двинулся вперед; толпа последовала за мной и окружила меня с глухим ропотом. Какой-то человек гнусного вида приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу и сказал:

– Пойдемте, сэр, следуйте за мной к мистеру Кирвину – там во всем отчитаетесь.

– Кто такой мистер Кирвин? В чем я должен отчитываться? Разве здесь не свободная страна?

– Да, сэр, достаточно свободная для честных людей. Мистер Кирвин – судья. А отчитаться надо потому, что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью.

Эти слова сильно поразили меня; но вскоре я успокоился. Я был невиновен; это легко можно было доказать. Поэтому я безмолвно

последовал за моим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода; но, окруженный толпой, я посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступит и боязнь позора, и страх смерти.

На этом я вынужден остановиться, ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать.

Глава XXI

Вскоре меня привели к судье, старому, добродушному на вид человеку со спокойными и мягкими манерами. Он посмотрел на меня, однако, довольно сурово; затем, повернувшись к моим конвоирам, он спросил, кто может быть свидетелем по этому делу.

Человек шесть выступили вперед; судья выбрал из них одного, который показал, что предыдущей ночью он отправился на рыбную ловлю вместе с сыном и зятем, Дэниелом Ньюгентом; около десяти часов поднялся сильный северный ветер, и они решили вернуться в гавань. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Они причалили не в гавани, а, по обыкновению, в бухте, мили на две ниже. Сам он шел первым, неся часть рыболовных снастей, а его спутники следовали за ним на некотором расстоянии. Ступая по песку, он споткнулся о какой-то предмет и упал. Спутники его подошли, чтоб помочь ему; при свете их фонаря они обнаружили, что он упал на человеческое тело, по видимости мертвое. Вначале они предположили, что это утопленник, выброшенный на берег; однако, осмотрев его, они установили, что одежда была сухой, а тело еще не успело остыть. Они немедленно отнесли его в домик одной старой женщины, живущей неподалеку, и попытались, к сожалению напрасно, вернуть его к жизни. Это был красивый молодой человек лет двадцати пяти. Очевидно, он был задушен, так как на нем не было никаких следов насилия, кроме темных отпечатков пальцев на шее.

Первая часть этих показаний не вызвала во мне ни малейшего интереса; но когда он упомянул о следах пальцев, я вспомнил убийство моего брата и пришел в крайнее волнение; по телу прошла дрожь, а глаза застлал туман; это вынудило меня прислониться к креслу в поисках опоры. Судья наблюдал за мной острым взглядом, и мое поведение, несомненно, произвело на него неблагоприятное действие.

Сын подтвердил показания отца; а когда был допрошен Дэниел Ньюгент, он положительно поклялся, что незадолго перед падением их спутника заметил недалеко от берега лодку, а в ней человека; насколько он мог судить при свете звезд, это была та самая лодка, на которой я только что прибыл.

Одна из женщин показала, что она живет вблизи берега и примерно за час до того, как услышала об обнаружении трупа, стояла у дверей своего дома, ожидая возвращения рыбаков; и тут заметила лодку, а в ней человека,

который отчаливал от того места на берегу, где впоследствии был найден труп.

Другая женщина подтвердила рассказ рыбаков, принесших тело в ее дом; тело было еще теплым. Они положили его на кровать и стали растирать, а Дэниел отправился в город за лекарем; но жизнь в теле уже угасла.

Еще несколько человек было опрошено об обстоятельствах моего прибытия; они сходились на том, что при сильном северном ветре, поднявшемся прошедшей ночью, я мог бороться со стихией в течение многих часов и был вынужден возвратиться к тому же месту, откуда отчалил. Кроме того, они считали, что я, по-видимому, принес тело из другого места и, поскольку берег мне незнаком, я мог войти в гавань, не имея представления о расстоянии от города до места, где я оставил труп.

Выслушав эти показания, мистер Кирвин пожелал, чтобы меня привели в комнату, где лежало тело, приготовленное для погребения; ему хотелось видеть, какое впечатление произведет на меня вид убитого. Эта мысль, вероятно, была подсказана ему моим чрезвычайным волнением при описании способа, каким было совершено убийство. Итак, судья и еще несколько лиц повели меня в комнату, где лежал покойник. Меня невольно поразили странные совпадения, происшедшие в эту беспокойную ночь; однако, зная, что меня видело несколько человек на острове, где я проживал, примерно в тот час, когда был найден труп, я был совершенно спокоен насчет исхода дела.

Я вошел в комнату, где лежал убитый, и меня подвели к гробу. Какими словами описать мои чувства при виде трупа? Еще сейчас у меня пересыхают губы от ужаса, и я не могу вспоминать тот страшный миг без содрогания. Допрос, присутствие судьи и свидетелей – все это исчезло как сон, когда передо мной предстало безжизненное тело Анри Клерваля. Я задышался; упав на тело, я вскричал: «Неужели мои преступные козни лишили жизни и тебя, милый Анри? Двоих я уже убил, другие жертвы ждут своей очереди, но ты, Клерваль, мой друг, мой благодетель...»

Человеку не под силу выдерживать дольше подобные страдания, и меня вынесли из комнаты в сильнейших конвульсиях.

За ними последовала лихорадка. Два месяца я находился на грани жизни и смерти. Бред мой, как мне после рассказывали, наводил на всех ужас: я называл себя убийцей Уильяма, Жюстины и Клерваля. Я то умолял присутствующих помочь мне расправиться с дьяволом, который меня мучил; то чувствовал, как пальцы чудовища впиваются в мое горло, и издавал громкие вопли страдания и ужаса. К счастью, я бредил на своем

родном языке, и меня понимал один лишь мистер Кирвин; но моей жестикуляции и криков было достаточно, чтобы испугать и других свидетелей.

Зачем я не умер? Более несчастный, чем кто-либо из людей, почему я не впал в забытие и не обрел покой? Смерть уносит столько цветущих детей – единственную надежду любящих родителей; столько невест и юных возлюбленных сегодня находятся в расцвете сил и надежд, а завтра становятся добычей червей и разлагаются в могиле. Из какого же материала я сделан, что смог выдержать столько ударов, от которых моя пытка непрерывно возобновлялась, точно на колесе?

Но мне суждено было выжить; через два месяца, словно проснувшись от тяжелого сна, я очутился в тюрьме, на жалкой постели, окруженный тюремщиками, надзирателями, запорами и всеми мрачными атрибутами заключения. Помню, было утро, когда ко мне вернулось сознание; я забыл, что со мной произошло, и помнил только, что на меня обрушилось какое-то горе. Но когда я осмотрелся вокруг, увидел решетки на окнах и грязную комнату, в которой я находился, все ожило в моей памяти, и я горько застонал.

Мои стоны разбудили старуху, дремавшую в кресле около меня. Это была жена одного из надзирателей, которую наняли ко мне сиделкой; ее лицо выражало все дурные наклонности, часто характерные для людей этого круга. Черты ее лица были жестки и грубы, как у тех, кто привык смотреть на чужое горе без сочувствия. Тон ее выражал полное равнодушие; она обратилась ко мне по-английски, и я узнал голос, который не раз слышал во время болезни.

– Вам теперь лучше, сэр? – спросила она.

Я едва внятно ответил, тоже по-английски:

– Кажется, да; но если все это правда, а не сон, мне жаль, что я еще живу и чувствую свое горе и ужас.

– Что и говорить, – сказала старуха, – если вы имеете в виду джентльмена, которого вы убили, то, пожалуй, оно бы и лучше, если бы вы умерли; вам придется очень плохо. Однако это дело не мое. Меня прислали ходить за вами и помочь вам встать на ноги. Это я делаю на совесть; хорошо бы каждый так работал.

Я с отвращением отвернулся от женщины, которая могла обратиться с такими бесчувственными словами к человеку, только что находившемуся при смерти. Но я был слаб и не мог разобраться в происходившем. Весь мой жизненный путь казался мне сном. Иногда я сомневался, было ли все это на самом деле, ибо события моей жизни ни разу не предстали мне с

яркостью реальной действительности.

Когда проплывавшие передо мной образы стали более отчетливыми, у меня сделался жар; и все вокруг потемнело. Возле меня не было никого, кто утешил бы меня и приласкал; ни одна дружеская рука не поддерживала меня. Пришел врач и прописал лекарства; старуха приготовила их, но на лице первого было написано полное безразличие, а на лице второй – жестокость. Кто мог интересоваться судьбой убийцы, кроме палача, ждущего платы за свое дело?

Таковы были мои первые мысли; однако я вскоре убедился, что мистер Кирвин проявил ко мне чрезвычайную доброту. Он приказал отвести для меня лучшее помещение в тюрьме (эта жалкая камера в самом деле была там лучшей); и именно он позаботился о враче и сиделке. Правда, навещал он меня редко; хотя он всячески стремился облегчить страдания каждого человека, ему не хотелось присутствовать при муках убийцы и слушать его бред. Он иногда приходил убедиться, что по отношению ко мне проявляется забота; однако его посещения были краткими и весьма нечастыми.

Однажды во время моего выздоровления я сидел на стуле; глаза мои были полузакрыты, а щеки мертвенно бледны, как у покойника. Подавленный горем, я часто думал, не лучше ли искать смерти, чем оставаться в мире, где мне суждено было так страдать. Одно время я подумывал, не признать ли себя виновным и подвергнуться казни, – ведь я был более виновным, чем бедная Жюстина. Именно эта мысль владела мною, когда дверь камеры открылась и вошел мистер Кирвин. Лицо его выражало жалость и сочувствие; он придвинул ко мне стул и обратился ко мне на французском языке:

– Боюсь, что вам здесь плохо; не могу ли я чем-нибудь облегчить вашу участь?

– Спасибо, но все это мне безразлично; ничто на свете не может принести мне облегчения.

– Я знаю, что сочувствие чужестранца – слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжелой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место; не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинение.

– Об этом я менее всего забочусь. Силою необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом?

– Действительно, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на этот берег, известный своим

гостеприимством, были немедленно схвачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам.

Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, несмотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал:

– Как только вы заболели, мне передали все бывшие при вас бумаги; я их просмотрел, желая найти какие-либо указания, которые помогли бы мне разыскать ваших родных и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву; после отправки моего письма прошло почти два месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно.

– Неизвестность в тысячу раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая разыгралась новая драма и чье убийство я должен теперь оплакивать?

– В вашей семье все благополучно, – сказал ласково мистер Кирвин, – и один из ваших близких приехал вас навестить.

Не знаю почему, но мне вдруг представилось, что это убийца явился насмехаться над моим горем, что он хочет воспользоваться моим несчастьем и вынудить у меня согласие на его адские требования. Я закрыл глаза руками и в ужасе закричал: «О! Уберите его! Я не могу его видеть; ради бога, не впускайте его!»

Мистер Кирвин в замешательстве смотрел на меня. Он невольно счел эти выкрики за подтверждение моей виновности и сурово сказал:

– Я полагал, молодой человек, что присутствие вашего отца будет вам приятно и не вызовет такого яростного протеста.

– Мой отец! – воскликнул я, и при этом все черты моего лица вместо ужаса выразили радость. – Неужели приехал мой отец? О, как он добр, как бесконечно добр! Но где он? Почему он не спешит ко мне?

Перемена во мне удивила и обрадовала судью; возможно, он приписал мои предыдущие восклицания новому припадку лихорадочного бреда; теперь к нему снова вернулась его прежняя благожелательность. Он поднялся и вместе с сиделкой покинул камеру, а через минуту ко мне вошел мой отец.

Ничто на свете не могло в ту минуту доставить мне большей радости. Я протянул к нему руки и воскликнул: «Так, значит, вы живы, и Элизабет и Эрнест?»

Отец успокоил меня, заверив, что у них все благополучно, и старался, распространяясь на столь интересующие меня темы, поднять мой дух. Однако он скоро почувствовал, что тюрьма неподходящее место для веселья. «Вот в каком жилище ты оказался, сын мой! – сказал он, печально оглядывая зарешеченные окна и всю жалкую комнату. – Ты отправился на поиски счастья, но тебя, как видно, преследует рок. А бедный Клерваль...»

Упоминание о моем несчастном убитом друге так меня взволновало, что при моей слабости я не смог сдержаться и заплакал.

– Увы! Это так, отец, – сказал я, – надо мной тяготеет рок; и я должен жить, чтобы свершить то, что мне предначертано, иначе мне надо было бы умереть у гроба Анри.

Нашу беседу прервали, ибо в моем тогдашнем состоянии меня оберегали от волнений. Вошел мистер Кирвин и решительно сказал, что чрезмерное напряжение может истощить мои силы. Но приезд отца был для меня подобен появлению моего ангела-хранителя, и здоровье мое постепенно стало поправляться.

Когда я поборол болезнь, мною овладела мрачная меланхолия, которую ничто не могло рассеять. Образ убитого Клерваля, как призрак, вечно стоял предо мной. Много раз мое волнение, вызванное этими воспоминаниями, заставляло моих друзей бояться опасного возврата болезни. Увы! Зачем они берегли мою несчастную жизнь, ненавистную мне самому? Очевидно, для того, чтобы я все претерпел до конца, но теперь конец близок. Скоро, о, очень скоро смерть погасит мои волнения и освободит меня от безмерного гнета страданий; приговор будет приведен в исполнение, и я обрету покой. Тогда смерть лишь далеко маячила передо мною, хотя желание умереть владело моими думами, и я часто часами сидел неподвижно и безмолвно, призывая катастрофу, которая погребла бы под обломками и меня, и моего губителя.

Приближался срок суда. Я находился в тюрьме уже три месяца; и хотя я все еще был слаб и мне постоянно грозил возврат болезни, я вынужден был проделать путь почти в сто миль, до главного города графства, где был назначен суд. Мистер Кирвин позаботился о вызове свидетелей и о защитнике. Я был избавлен от позора публичного появления в качестве преступника, так как дело мое не было передано в тот суд, от решения которого зависит жизнь или смерть. Присяжные, решающие вопрос о предании этому суду, сняли с меня обвинение, ибо было доказано, что в тот час, когда был обнаружен труп моего друга, я находился на Оркнейских островах; через две недели после моего переезда в главный город я был освобожден из тюрьмы.

Отец был счастлив, узнав, что я свободен от тяжкого обвинения, что я снова могу дышать вольным воздухом и вернуться на родину. Я не разделял его чувств; стены темницы или дворца были бы мне одинаково ненавистны. Чаша жизни была отравлена навеки; и хотя солнце светило надо мной, как и над самыми счастливыми, я ощущал вокруг себя непроглядную, страшную тьму, куда не проникал ни единый луч света и где мерцала только пара глаз, устремленных на меня. Иногда это были выразительные глаза Анри, полные смертной тоской, – темные, полузакрытые глаза, окаймленные черными ресницами; иногда же это были водянистые, мутные глаза чудовища, впервые увиденные мной в моей ингольштадтской комнате.

Отец старался возродить во мне чувства любви к близким. Он говорил о Женеве, куда мне предстояло вернуться, об Элизабет и Эрнесте. Но его слова лишь исторгали глубокие вздохи из моей груди. Иногда, правда, во мне пробуждалась жажда счастья; я с грустью и нежностью думал о своей любимой кузине или с мучительной *maladie du pays*^[6] хотел еще раз увидеть синее озеро и быструю Рону, которые были мне так дороги в детстве; но моим обычным состоянием была апатия; мне было все равно – находиться в тюрьме или среди прекраснейшей природы. Это настроение прерывалось лишь пароксизмами отчаяния. В такие минуты я часто пытался положить конец своему ненавистному существованию. Требовалось неустанное надо мною наблюдение, чтобы я не наложил на себя руки.

Однако на мне лежал долг, воспоминание о котором в конце концов взяло вверх над эгоистическим отчаянием. Необходимо было немедленно вернуться в Женеву, чтобы охранять жизнь тех, кого я так глубоко любил; надо было выследить убийцу и, если случай откроет мне его убежище или он сам снова осмелится появиться передо мной, без промаха сразить чудовище, которое я наделил подобием души, еще более уродливым, чем его тело. Отец откладывал наш отъезд, опасаясь, что я не вынесу тягот путешествия; ведь я был сущей развалиной – тенью человека. Силы мои были истощены. От меня остался один скелет; днем и ночью мое изнуренное тело пожирала лихорадка.

Однако я с такой тревогой и нетерпением настаивал на отъезде из Ирландии, что отец счел за лучшее уступить. Мы взяли билеты на судно, отплывавшее в Гавр де Грас, и отчалили с попутным ветром от берегов Ирландии. Была полночь. Лежа на палубе, я глядел на звезды и прислушивался к плеску волн. Я радовался темноте, скрывшей от моих взоров ирландскую землю; сердце мое билось от радости при мысли, что я

скоро увижу Женеву. Прошлое казалось мне ужасным сновидением; однако судно, на котором я плыл, ветер, относивший меня от ненавистного ирландского берега, и окружавшее меня море слишком ясно говорили мне, что это не сон и что Клерваль, мой друг, мой дорогой товарищ, погиб из-за меня, из-за чудовища, которое я создал. В моей памяти пронеслась вся моя жизнь: тихое счастье в Женеве, в кругу семьи, смерть матери и отъезд в Ингольштадт. Я с содроганием вспомнил безумный энтузиазм, побуждавший меня быстрее сотворить моего гнусного врага; я вызвал в памяти ночь, когда он впервые ожил. Дальше я не мог вспоминать; множество чувств нахлынуло на меня, и я горько заплакал.

Со времени выздоровления от горячки у меня вошло в привычку принимать на ночь небольшую дозу опия; только с помощью этого лекарства мне удавалось обрести покой, необходимый для сохранения жизни. Подавленный воспоминаниями о своих бедствиях, я принял двойную дозу и вскоре крепко уснул. Но сон не принес мне забвения от мучительных дум; мне снились всевозможные ужасы. К утру мною совсем овладели кошмары: мне казалось, что дьявол сжимает мне горло, а я не могу вырваться; в ушах моих раздавались стоны и крики. Отец, сидевший надо мной, увидев, как я мечусь во сне, разбудил меня. Кругом шумели волны; надо мной было облачное небо, дьявола не было; чувство безопасности, ощущение того, что между этим часом и неизбежным страшным будущим наступила передышка, принесли мне некое забвение, к которому так склонен по своей природе человеческий разум.

Глава XXII

Путешествие подошло к концу. Мы высадились на берег и проследовали в Париж. Вскоре я убедился, что переоценил свои силы и мне требуется отдых, прежде чем продолжать путь. Отец проявлял неутомимую заботу и внимание; но он не знал причины моих мучений и предлагал лекарства, бессильные при неизлечимой болезни. Ему хотелось, чтобы я развлекся в обществе. Мне же были противны человеческие лица. О нет, не противны! Это были братья, мои ближние, и меня влекло даже к наиболее неприятным из них, точно это были ангелы, сошедшие с небес. Но мне казалось, что я не имею права общаться с ними. Я наслал на них врага, которому доставляло радость проливать их кровь и наслаждаться их стонами. Как ненавидели бы они меня, все до одного, как стали бы гнать меня, если бы узнали о моих греховных занятиях и о злодействах, источником которых я был!

В конце концов отец уступил моему стремлению избегать общества и прилагал все усилия, чтобы рассеять мою тоску. Иногда ему казалось, что я болезненно воспринял унижение, связанное с обвинением в убийстве, и он пытался доказать мне, что это ложная гордость.

– Увы, отец мой, – говорил я, – как мало вы меня знаете! Люди, их чувства и страсти действительно были бы унижены, если бы такой негодяй, как я, смел гордиться. Жюстина, бедная Жюстина, была невинна, как и я, а ей предъявили такое же обвинение, и она погибла, а причина ее смерти – я; я убил ее. Уильям, Жюстина и Анри – все они погибли от моей руки.

Во время моего заключения в тюрьме отец часто слышал от меня подобные признания; когда я таким образом обвинял себя, ему иногда, по видимому, хотелось получить объяснение; иногда же он принимал их за бред и считал, что такого рода мысль, явившаяся во время болезни, могла сохраниться и после выздоровления. Я уклонялся от объяснений и молчал о злодее, которого я создал. Я был убежден, что меня считают безумным; это само по себе могло навеки связать мой язык. Кроме того, я не мог заставить себя раскрыть тайну, которая повергла бы моего собеседника в отчаяние и поселила в его груди неизбывный ужас. Поэтому я сдерживал свою нетерпеливую жажду сочувствия и молчал, а между тем я отдал бы все на свете за возможность открыть роковую тайну. Но иногда у меня невольно вырывались подобные слова. Я не мог дать им объяснение; но эти правдивые слова несколько облегчали бремя моей тайной скорби.

На этот раз отец сказал с беспредельным удивлением:

– Милый Виктор, что это за бред? Милый сын, умоляю тебя, никогда больше не утверждай ничего подобного.

– Я не сумасшедший, – вскричал я решительно, – солнце и небо, которым известны мои дела, могут засвидетельствовать, что я говорю правду! Я – убийца этих невинных жертв, они погибли из-за моих козней. Я тысячу раз пролил бы свою собственную кровь каплю за каплей, чтобы спасти их жизнь; но я не мог этого сделать, отец, я не мог пожертвовать всем человеческим родом.

Конец этой речи совершенно убедил моего отца, что мой разум помрачен; он немедленно переменял тему разговора и попытался дать моим мыслям иное направление. Он хотел, насколько возможно, вычеркнуть из моей памяти события, разыгравшиеся в Ирландии; он никогда не упоминал о них и не позволял мне говорить о моих невзгодах.

Со временем я стал спокойнее; горе прочно утеснилось в моем сердце, но я больше не говорил бессвязными словами о своих преступлениях; для меня было достаточно сознавать их. Я сделал над собой невероятное усилие и подавил властный голос страдания, которое иногда рвалось наружу, чтобы заявить о себе всему свету. Я стал спокойнее и сдержаннее, чем когда-либо со времени моей поездки к ледовому морю.

За несколько дней до отъезда из Парижа в Швейцарию я получил следующее письмо от Элизабет:

«Дорогой друг! Я с величайшей радостью прочла письмо от дяди, отправленное из Парижа; ты уже не отделен от меня огромным расстоянием, и я надеюсь увидеть тебя через каких-нибудь две недели. Бедный кузен, сколько ты должен был выстрадать! Я боюсь, что ты болен еще серьезнее, чем когда уезжал из Женевы. Эта зима прошла для меня в унынии, в постоянных терзаниях неизвестности. Все же я надеюсь, что увижу тебя умиротворенным и что твое сердце хоть немного успокоилось.

И все-таки я боюсь, что тревога, которая делала тебя таким несчастным год тому назад, существует и теперь, и даже усилилась со временем. Я не хотела бы расстраивать тебя сейчас, когда ты перенес столько несчастий; однако разговор, который произошел у меня с дядей перед его отъездом, требует, чтобы я объяснилась еще до нашей встречи.

Объяснилась! Ты, вероятно, спросишь: что у Элизабет может быть такого, что требует объяснения? Если ты в самом деле так скажешь, этим самым будет получен ответ на мои вопросы, и все мои сомнения исчезнут. Но ты далеко от меня и, возможно, боишься и, вместе, желаешь такого объяснения. Чувствуя вероятность этого, я не решаюсь более откладывать и

пишу то, что за время твоего отсутствия мне часто хотелось написать, но не доставало мужества.

Ты знаешь, Виктор, что наш союз был мечтой твоих родителей с самых наших детских лет. Нам объявили об этом, когда мы были совсем юными; нас научили смотреть на этот союз как на нечто непереносимое. Мы были в детстве нежными друзьями и, я надеюсь, остались близкими друзьями, когда повзрослели. Но ведь брат и сестра часто питают друг к другу нежную привязанность, не стремясь к более близким отношениям; не так ли и с нами? Скажи мне, милый Виктор. Ответь, умоляю тебя, ради нашего счастья, с полной искренностью: ты не любишь другую?

Ты путешествовал; ты провел несколько лет в Ингольштадте; и признаюсь тебе, мой друг, когда я прошлой осенью увидела, что ты несчастен, ищешь одиночества и избегаешь всякого общества, я невольно предположила, что ты, возможно, сожалеешь о нашей помолвке и считаешь себя связанным, считаешь, что обязан исполнить волю родителей, хотя бы это противоречило твоим склонностям. Но это ложное рассуждение. Признаюсь, мой друг, что люблю тебя и в моих мечтах о будущем ты всегда был моим другом и спутником. Но я желаю тебе счастья, как самой себе, и поэтому заявляю, что наш брак обернется для меня вечным горем, если не будет совершен по твоему собственному свободному выбору. Вот и сейчас я плачу при мысли, что ты, вынесший жестокие удары судьбы, ради слова *честь* можешь уничтожить надежду на любовь и счастье, которые одни способны вернуть тебе покой. Бескорыстно любя тебя, я десятикратно увеличила бы твои муки, став препятствием для исполнения твоих желаний. О Виктор, поверь, что твоя кузина и товарищ твоих детских игр слишком искренне тебя любит, чтобы не страдать от такого предположения. Будь счастлив, мой друг, и, если ты исполнишь только это мое желание, будь уверен, что ничто на свете не нарушит мой покой.

Пусть это письмо не расстраивает тебя; не отвечай завтра, или на следующий день, или даже до твоего приезда, если это тебе больно. Дядя пришлет мне известие о твоём здоровье; и если при встрече я увижу хотя бы улыбку на твоих устах, вызванную мною, мне не надо другого счастья.

Женева, 18 мая 17. Элизабет Лавенца».

Это письмо оживило в моей памяти то, что я успел забыть, – угрозу демона: «*Я буду с тобой в твою брачную ночь!*» Таков был вынесенный мне приговор; в эту ночь демон приложит все силы, чтобы убить меня и лишить счастья, которое обещало облегчить мои муки. В эту ночь он решил завершить свои преступления моей смертью. Пусть будет так: в эту ночь произойдет смертельная схватка, и, если он окажется победителем, я

обрету покой, и его власти надо мною придет конец. Если же он будет побежден, я буду свободен. Увы! Что за свобода! Такая же свобода, как у крестьянина, на глазах которого вырезана вся семья, сгорел дом, земля лежит опустошенная, а сам он – бездомный, нищий изгнанник, одинокий, но свободный. Такой будет и моя свобода; правда, в лице моей Элизабет я обрету сокровище, но на другой чаше весов останутся муки совести и сознание вины, которые будут преследовать меня до самой смерти.

Милая, любимая Элизабет! Я читал и перечитывал ее письмо; нежность проникла в мое сердце и навевала райские грезы любви и радости; но яблоко уже было съедено, и десница ангела отрешала меня от всех надежд. А я готов был на смерть, чтобы сделать ее счастливой. Смерть неизбежна, если чудовище выполнит свою угрозу. Но я задавался вопросом: ускорит ли женитьба исполнение моей судьбы? Моя гибель может свершиться на несколько месяцев раньше; но если мой мучитель заподозрит, что я откладываю свадьбу из-за его угрозы, он, безусловно, найдет другие и, быть может, более страшные способы мести. Он поклялся быть со мной в брачную ночь; но он не считает, что эта угроза обязывает его соблюдать мир до наступления этой ночи. Чтобы показать мне, что он еще не насытился кровью, он убил Клерваля сразу после своей угрозы. Я решил поэтому, что если мой немедленный союз с кузиной принесет счастье ей или моему отцу, то я не имею права отсрочить его ни на один час, каковы бы ни были умыслы моего врага против моей жизни.

В таком состоянии духа я написал Элизабет. Письмо мое было спокойно и нежно. «Боюсь, моя любимая девочка, – писал я, – что нам осталось мало счастья на свете; но все, чему я могу радоваться, сосредоточено в тебе. Отбрось же пустые страхи; тебе одной посвящаю я свою жизнь и свои стремления к счастью. У меня есть тайна, Элизабет, страшная тайна. Когда я ее открою тебе, твоя кровь застынет от ужаса, и тогда, уже не поражаясь моей мрачности, ты станешь удивляться тому, что я еще жив после всего, что выстрадал. Я поверю тебе эту страшную тайну на следующий день после нашей свадьбы, милая кузина, ибо между нами должно существовать полное доверие. Но до этого дня умоляю тебя не напоминать о ней. Об этом я прошу со всей серьезностью и знаю, что ты согласишься».

Через неделю после получения письма от Элизабет мы возвратились в Женеву. Милая девушка встретила меня с самой нежной лаской, но на ее глаза навернулись слезы, когда она увидела мое исхудалое лицо и лихорадочный румянец. Я в ней также заметил перемену. Она похудела и утратила восхитительную живость, которая очаровывала меня прежде; но

ее кротость и нежные, сочувственные взгляды делали ее более подходящей подругой для отверженного и несчастного человека, каким был я.

Спокойствие мое оказалось недолгим. Воспоминания сводили меня с ума. Когда я думал о прошедших событиях, мною овладевало настоящее безумие; иногда меня охватывала ярость, и я пылал гневом; иногда погружался в глубокое уныние. Я ни с кем не говорил, ни на кого не глядел и сидел неподвижно, отупев от множества свалившихся на меня несчастий.

Одна только Элизабет умела вывести меня из этого состояния; ее нежный голос успокаивал меня, когда я бывал возбужден, и пробуждал человеческие чувства, когда я впадал в оцепенение. Она плакала вместе со мной и надо мной. Когда рассудок возвращался ко мне, она увещевала меня и старалась внушить мне смирение перед судьбой. О! хорошо смиряться несчастливцу, но для преступника нет покоя. Муки совести отравляют наслаждение, которое можно иногда найти в самой чрезмерности горя.

Вскоре после моего приезда отец заговорил о моей предстоящей женитьбе на Элизабет. Я молчал.

– Может быть, у тебя есть другая привязанность?

– Никакой в целом свете. Я люблю Элизабет и радостно жду нашей свадьбы. Пусть же будет назначен день. В этот день я посвящу себя, живой или мертвый, счастью моей кухни.

– Дорогой Виктор, не говори так. Мы пережили тяжелые несчастья; но надо крепче держаться за то, что нам осталось, и перенести нашу любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет узок, но крепко связан узами любви и общего горя. А когда время смягчит твоё отчаяние, родятся новые милые создания, предметы нашей любви и забот, взамен тех, кого нас так жестоко лишили.

Так поучал меня отец. А мне все вспоминалась угроза демона. Не следует удивляться, что, при его всемогуществе в кровавых делах, я считал его почти непобедимым, и когда он произнес слова: «*Я буду с тобой в твою брачную ночь*», – я примирился с угрожавшей мне опасностью как неотвратимой. Однако смерть не страшила меня по сравнению с утратой Элизабет. Поэтому я с удовлетворением и даже радостью согласился с отцом и сказал, что, если моя кухня не возражает, можно праздновать свадьбу через десять дней; тогда-то и решится моя судьба, думал я.

Великий боже! Если бы я на один миг подумал, какой адский умысел вынашивал мой злобный противник, я лучше навсегда исчез бы из родной страны и скитался по свету одиноким изгнанником, чем согласился на этот злополучный брак. Но словно каким-то колдовством чудовище сделало меня слепым к его настоящим замыслам; и я, считая, что смерть уготована

только мне, ускорял гибель существа, более дорогого мне, чем я сам.

По мере приближения срока нашей свадьбы – то ли из трусости, то ли охваченный предчувствием – я все более падал духом. Однако я скрывал свои чувства под видом веселости, вызывавшим счастливые улыбки на лице моего отца, но едва ли обманувшим внимательный и более острый взор Элизабет. Она ожидала нашего союза с удовлетворением, к которому все же примешивался некоторый страх, внушенный нашими прошлыми несчастьями; то, что сейчас казалось реальным и осязаемым счастьем, могло скоро превратиться в сон, не оставляющий никаких следов, кроме глубокой и вечной горечи.

Были сделаны необходимые приготовления для торжества; мы принимали поздравительные визиты, и всюду сияли радостные улыбки. Я, как умел, затаил в сердце терзавшую меня тревогу и, казалось, с увлечением вникал в планы моего отца, хотя им, быть может, предстояло лишь украсить мою гибель. Благодаря стараниям отца часть наследства Элизабет была закреплена за нею австрийским правительством. Ей принадлежало небольшое поместье на берегах Комо. Было решено, что тотчас после свадьбы мы поедem на виллу Лавенца и проведем наши первые счастливые дни у прекрасного озера, на котором она стоит.

Тем временем я принял все меры предосторожности, чтобы защищаться, если демон открыто нападет на меня. При мне всегда были пистолеты и кинжал; и я был постоянно начеку, чтобы предотвратить всякое коварство. Это в значительной степени успокаивало меня. По мере приближения дня свадьбы угроза стала казаться мне пустою и не стоящей того, чтобы нарушился мой покой. В то же время счастье, которого я ожидал от нашего брака, представлялось все более верным с приближением торжественного дня, о котором постоянно говорили как о чем-то решенном, чему никакие случайности не могут помешать.

Элизабет казалась счастливой; мое спокойствие значительно способствовало и ее успокоению. Но в день, назначенный для осуществления моих желаний и решения моей судьбы, она загрустила, и ею овладело какое-то предчувствие; а может быть, она думала о страшной тайне, которую я обещал открыть ей на следующий день. Отец не мог нарадоваться на нее и за суетой свадебных приготовлений усматривал в грусти своей племянницы лишь обычную застенчивость невесты.

После брачной церемонии у отца собралось много гостей; но было условлено, что Элизабет и я отправимся в свадебное путешествие по воде, переночуем в Эвиане и продолжим путь на следующий день. Погода стояла чудесная, дул попутный ветер, и все благоприятствовало нашей свадебной

поездке.

То были последние часы в моей жизни, когда я был счастлив. Мы быстро продвигались вперед; солнце палило, но мы укрылись от его лучей под навесом, любуясь красотой пейзажей, – то на одном берегу озера, где мы видели Мон Салэв, прелестные берега Монталегра, а вдали возвышающийся над всем прекрасный Монблан и группу снежных вершин, которые тщетно с ними соперничают; то на противоположном берегу, где перед нами была могучая Юра, вздымавшая свою темную громаду перед честолубцем, который задумал бы покинуть родину, и преграждавшая путь захватчику, который захотел бы ее покорить.

Я взял руку Элизабет.

– Ты грустна, любимая. О, если бы ты знала, что я выстрадал и что мне, быть может, еще предстоит выстрадать, ты постаралась бы дать мне забыть отчаяние и изведать покой – все, что может подарить мне этот день.

– Будь счастлив, милый Виктор, – ответила Элизабет, – надеюсь, что тебе не грозит никакая беда; верь, что на душе у меня хорошо, если даже мое лицо и не выражает радости. Какой-то голос шепчет мне, чтобы я не слишком доверялась нашему будущему. Но я не буду прислушиваться к этому зловещему голосу. Взгляни, как мы быстро плывем, посмотри на облака, которые то закрывают, то открывают вершину Монблана и делают этот красивый вид еще прекраснее. Взгляни также на бесчисленных рыб, плывущих в прозрачных водах, где можно различить каждый камешек на дне. Какой божественный день! Какой счастливой и безмятежной кажется вся природа!

Такими речами Элизабет старалась отвлечь свои и мои мысли от всяких предметов, наводящих уныние. Однако настроение ее было неровным; на несколько мгновений в ее глазах загоралась радость, но она то и дело сменялась беспокойством и задумчивостью.

Солнце опустилось ниже; мы проплыли мимо устья реки Дранс и проследили глазами ее путь по расселинам высоких гор и по долинам между более низкими склонами. Здесь Альпы подходят ближе к озеру, и мы приблизились к амфитеатру гор, замыкающих его с востока. Шпили Эвиана сверкали среди окрестных лесов и громоздящихся над ним вершин.

Ветер, который до сих пор нес нас с поразительной быстротой, к закату утих, сменившись легким бризом. Нежное дуновение его лишь рябило воду и приятно шелестело листвой деревьев, когда мы приблизились к берегу, откуда повеяло восхитительным запахом цветов и сена. Когда мы причалили, солнце зашло за горизонт; едва коснувшись ногами земли, я снова почувствовал, как во мне оживают заботы и страхи,

которым вскоре суждено было завладеть мною уже навсегда.

Глава XXIII

Было восемь часов, когда мы вышли на берег; мы еще немного погуляли по берегу, ловя угасавший свет, а затем направились в гостиницу, любуясь красивыми видами вод, лесов и гор, скрытых сумерками, но еще выступавших темными очертаниями.

Южный ветер утих, но зато с новой силой подул ветер с запада. Луна достигла высшей точки в небе и начала опускаться; облака скользили по ней быстрее хищных птиц и скрывали ее лучи, а озеро отражало беспокойное небо, казавшееся нам еще беспокойнее из-за поднявшихся волн. Внезапно обрушился сильный ливень.

Весь день я был спокоен; но как только формы предметов растворились во мраке, моей душой овладели бесчисленные страхи. Я был взволнован и насторожен; правой рукой я сжимал пистолет, спрятанный за пазухой; каждый звук пугал меня; но я решил дорого продать свою жизнь и не уклоняться от борьбы, пока не паду мертвым или не уничтожу своего противника.

Элизабет некоторое время наблюдала мое волнение, сохраняя робкое безмолвие; но, должно быть, в моем взгляде было нечто такое, что вызвало в ней ужас; дрожа всем телом, она спросила:

– Что тревожит тебя, милый Виктор? Чего ты боишься?

– О, спокойствие, спокойствие, любовь моя, – ответил я, – пройдет эта ночь, и все будет хорошо; но эта ночь страшна, очень страшна.

В таком состоянии духа я провел час, когда вдруг подумал о том, как ужасен будет для моей жены поединок, которого я ежеминутно ждал. Я стал умолять ее удалиться, решив не идти к ней, пока не выясню, где мой враг.

Она покинула меня, и я некоторое время ходил по коридорам дома, обыскивая каждый угол, который мог бы служить укрытием моему противнику. Но я не обнаружил никаких его следов и начал уже думать, что какая-нибудь счастливая случайность помешала ему привести свою угрозу в исполнение, когда вдруг услышал страшный, пронзительный вопль. Он раздался из комнаты, где уединилась Элизабет. Услышав этот крик, я все понял; руки мои опустились, все мускулы моего тела оцепенели; я ощутил тяжкие удары крови в каждой жиле. Это состояние длилось всего лишь миг; вопль повторился, и я бросился в комнату.

Великий боже! Отчего я не умер тогда! Зачем я здесь и рассказываю о

гибели моих надежд и самого чистого на свете создания! Она лежала поперек кровати, безжизненная и неподвижная; голова ее свисала вниз, бледные и искаженные черты ее лица были наполовину скрыты волосами. Куда бы я ни посмотрел, я вижу перед собой бескровные руки и бессильное тело, брошенное убийцей на брачное ложе. Как мог я после этого остаться жить? Увы! Жизнь упряма и цепляется за нас тем сильнее, чем мы больше ее ненавидим. На минуту я потерял сознание и без чувств упал на пол.

Когда я пришел в себя, меня окружали обитатели гостиницы. На всех лицах был написан неподдельный ужас, но это было лишь слабым отражением чувств, раздиравших меня. Я вернулся в комнату, где лежало тело Элизабет, моей любимой, моей жены, еще так недавно живой, и такой дорогой, такой достойной любви. Поза, в которой я застал ее, была изменена; теперь она лежала прямо, голова покоилась на руке, на лицо и шею был накинут платок; можно было подумать, что она спит. Я бросился к ней и заключил ее в свои объятия. Но прикосновение к безжизненному и холодному телу напомнило мне, что я держал в объятиях уже не Элизабет, которую так нежно любил. На шее у нее четко виднелся след смертоносных пальцев демона, и дыхание уже не исходило из ее уст.

Склонясь над нею в безмерном отчаянии, я случайно посмотрел вокруг. Окна комнаты были раньше затемнены, а теперь я со страхом увидел, что комната освещена бледно-желтым светом луны. Ставни были раскрыты; с неописуемым чувством ужаса я увидел в открытом окне ненавистную и страшную фигуру. Лицо чудовища было искажено усмешкой; казалось, он глумился надо мной, своим дьявольским пальцем указывая на труп моей жены. Я ринулся к окну и, выхватив из-за пазухи пистолет, выстрелил; но он успел уклониться, подпрыгнул и, устремившись вперед с быстротою молнии, бросился в озеро.

На звук выстрела в комнате собралась толпа. Я показал направление, в котором он исчез, и мы отправились в погоню на шлюпках; мы бросали сети, но все было напрасно. После нескольких часов поисков мы вернулись, потеряв всякую надежду; многие из моих спутников полагали, что все это – плод моего воображения. Выйдя на берег, они продолжили поиски в окрестностях, разделившись на группы, которые в различных направлениях стали обшаривать леса и виноградники.

Я попытался сопровождать их и отошел на короткое расстояние от дома; но голова моя кружилась, я передвигался, словно пьяный, и наконец впал в крайнее изнеможение; глаза мои подернулись пеленой, кожу сушил лихорадочный жар. В этом состоянии меня унесли обратно в дом и положили на кровать. Я едва сознавал, что случилось; взор мой блуждал по

комнате, словно ища то, что я потерял.

Прошло некоторое время; я поднялся и инстинктивно добрался до комнаты, где лежало тело моей любимой. Кругом стояли плачущие женщины; я прильнул к телу и присоединил к их слезам свои горестные слезы. Все это время мне не приходила ни одна ясная мысль; мысли перескакивали с предмета на предмет, смутно отражая мои несчастья и их причину. Я тонул в каком-то море ужасов. Смерть Уильяма, казнь Жюстины, убийство Клерваля и, наконец, моей жены; даже в этот момент я не был уверен, что моим последним оставшимся в живых близким не грозит опасность от злобного дьявола; возможно, отец мой в эту самую минуту корчится в его мертвой хватке, а Эрнест лежит мертвый у его ног. Эта мысль заставила меня задрожать и побудила к действию. Я вскочил на ноги и решил как можно скорее вернуться в Женеву.

Лошадей нельзя было достать, и я вынужден был возвращаться по озеру, но дул противный ветер, и потоками лил дождь. Однако утро едва еще брезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял гребцов и сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя и крайнее волнение делали меня не способным ни на какое усилие. Я отбросил весло; охватив голову руками, я дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглянуться кругом, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время; всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стала теперь только тенью и воспоминанием. Слезы лились из моих глаз. Дождь на некоторое время перестал, и я увидел рыб, которые резвились в воде, как и тогда, раньше; тогда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце, или сгущались тучи, ничто уже не могло предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье; никогда еще не было создания несчастнее меня; ни один человек не переживал события столь страшного.

Но зачем так подробно останавливаться на эпизодах, последовавших за последним моим несчастьем? Повесть моя и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знайте, что мои близкие были вырваны из жизни один за другим. Я остался одиноким. Но силы мои истощены; и я могу лишь вкратце досказать конец моей страшной повести.

Я прибыл в Женеву. Я застал отца и Эрнеста еще в живых, но первый поник под тяжестью вестей, которые я принес. Я вижу его как сейчас, доброго и почтенного старика! Невидящий взгляд его глаз блуждал в

пространстве, ибо он потерял свою лучшую радость – свою Элизабет, значившую для него больше, чем дочь, любимую им безгранично, всей любовью, на какую способен человек на склоне лет, когда у него осталось мало привязанностей, но тем крепче он цепляется за оставшиеся. Пусть будет проклят и еще раз проклят дьявол, обрушивший несчастье на его седую голову, обрекший его на медленное, тоскливое умирание! Он не мог жить после всех ужасов, которые на нас обрушились; жизненные силы иссякли в нем; он уже не вставал с постели и через несколько дней умер на моих руках.

Что случилось тогда со мною? Не знаю; я потерял чувство реального и ощущал лишь давящую тяжесть и тьму. Иногда, правда, мне грезилось, что я брожу по цветущим лугам и живописным долинам с друзьями моей юности. Но я пробуждался в какой-то темнице. За этим следовали приступы тоски, но постепенно я яснее осознал свою горе и свое положение, и тогда меня выпустили на свободу. Оказывается, меня сочли сумасшедшим, и, насколько я мог понять, в течение долгих месяцев моим обиталищем была одиночная палата.

Однако свобода была бы для меня бесполезным даром, если бы во мне, по мере того как возвращался рассудок, не заговорило и чувство мести. Когда ко мне вернулась память о прошлых несчастьях, я начал размышлять об их причине – о чудовище, которое я создал, о гнусном демоне, которого я выпустил на свет на свою же погибель. Мною овладевала безумная ярость, когда я думал о нем; я желал и пылко молил, чтобы он очутился в моих руках и я мог обрушить на его проклятую голову великую и справедливую месть.

Моя ненависть не могла долгое время ограничиваться бесплодными желаниями; я начал думать о наилучших способах их осуществления. С этой целью примерно через месяц после выхода из больницы я обратился к городскому судье по уголовным делам и заявил ему, что намерен предъявить обвинение; что мне известен убийца моих близких и что я требую от него употребить всю его власть для поимки этого убийцы.

Судья выслушал меня со вниманием и доброжелательно.

– Будьте уверены, сэр, – сказал он, – я не пожалею сил и трудов, чтобы схватить преступника.

– Благодарю вас, – ответил я. – Выслушайте поэтому показания, которые я намерен дать. Это действительно такая странная история, что, я боюсь, вы не поверите мне; однако в истине, как бы ни была она удивительна, есть нечто, что заставляет верить. Мой рассказ будет слишком связным, чтобы вы приняли его за плод воображения, и у меня нет никаких

побуждений для лжи.

Я сказал все это выразительно, но спокойно; в глубине души я принял решение преследовать моего губителя до самой его смерти. Эта цель, которую я поставил перед собой, облегчала мои страдания и на некоторое время примирила меня с жизнью. Теперь я изложил свою историю кратко, но твердо и ясно, называя точные даты и удерживаясь от проклятий или жалоб.

Вначале судья, казалось, отнесся к рассказу с полным недоверием, но постепенно проявлял все больше внимания и интереса. Я заметил, что он вздрагивал от ужаса, а иногда его лицо выражало живейшее удивление с примесью сомнения.

Закончив свою повесть, я сказал:

– Вот существо, которое я обвиняю; и я призываю вас употребить всю вашу власть, чтобы схватить и покарать его. Это ваш долг судьи, и я верю и надеюсь, что и ваши человеческие чувства в данном случае не дадут вам уклониться от исполнения ваших обязанностей.

Это обращение вызвало заметную перемену в лице моего собеседника. Он слушал меня с той полуверой, с какой выслушивают рассказы о таинственных и сверхъестественных явлениях. Но когда я призвал его действовать официально, к нему вернулось все его прежнее недоверие. Однако он мягко ответил:

– Я бы охотно оказал вам любую помощь в преследовании преступника; но создание, о котором вы говорите, по-видимому, обладает силой, способной свести на нет все мои старания. Кто сможет преследовать животное, способное пересечь ледовое море и жить в пещерах и берлогах, куда не осмелится проникнуть ни один человек? Кроме того, со дня совершения преступлений прошло несколько месяцев, и трудно угадать, куда он направился и где сейчас может обитать.

– Я не сомневаюсь, что он кружит где-то поблизости; а если он в самом деле нашел убежище в Альпах, то можно устроить на него охоту, как на серну, и уничтожить его, как дикого зверя. Но я угадываю ваши мысли: вы не верите моему рассказу и не намерены преследовать моего врага и покарать его по заслугам.

При этом мои глаза сверкнули яростью; судья был смущен.

– Вы ошибаетесь, – сказал он, – я напрягу все усилия, и будьте уверены, что он понесет достойную кару. Но я опасюсь, судя по вашему собственному описанию его, что это будет практически невыполнимо, – таким образом, несмотря на все меры, вас может ждать разочарование.

– Этого не может быть, но убедать вас бесполезно. Моя месть ничего

для вас не значит. Я согласен, что это дурное чувство, но признаюсь, что оно – всепожирающая и единственная страсть моей души. Ярость моя невыразима, когда я думаю, что убийца, которого я создал, все еще жив. Вы отказываетесь удовлетворить мое справедливое требование; мне остается лишь одно средство; и я посвящаю себя, свою жизнь и смерть делу его уничтожения.

Произнося эти слова, я весь дрожал; в моих речах сквозило безумие и, вероятно, нечто от надменной суровости, которой отличались, как говорят, мученики былых времен. Но для женевского судьи, чья голова была занята совсем иными мыслями, чем идеи жертвенности и героизма, такое возбуждение очень походило на сумасшествие. Он постарался успокоить меня, словно няня – ребенка, и отнесся к моему повествованию, как к бреду.

– О люди, – вскричал я, – сколь вы невежественны, а еще кичитесь своей мудростью! Довольно! Вы сами не знаете, что говорите.

Я выбежал из его дома раздраженный и взволнованный и удалился, чтобы измыслить иные способы действия.

Глава XXIV

Я был в том состоянии, когда мы не можем разумно мыслить. Я был одержим яростью. Но жажда мести придала мне силу и спокойствие; она заставила меня овладеть собой и помогла быть расчетливым и хладнокровным в такие минуты, когда мне грозило безумие или смерть.

Первым моим решением было навсегда покинуть Женеву; родина, дорогая для меня, когда я был счастлив и любим, теперь стала мне ненавистна. Я запасся деньгами, захватил также несколько драгоценностей, принадлежавших моей матери, и уехал.

С тех пор начались странствия, которые окончатся лишь вместе с моей жизнью. Я объехал большую часть планеты и испытал все лишения, обычно достающиеся на долю путешественников в пустынных и диких краях. Не знаю, как я выжил; не раз я ложился, изможденный, на землю и молил бога о смерти. Но жажда мести поддерживала во мне жизнь; я не смел умереть и оставить в живых своего врага.

После отъезда из Женевы первой моей заботой было отыскать след ненавистного демона. Но у меня еще не было определенного плана; и я долго бродил в окрестностях города, не зная, в какую сторону направиться. Когда стемнело, я оказался у ворот кладбища, где были похоронены Уильям, Элизабет и отец. Я вошел туда и приблизился к их могилам. Все вокруг было тихо, и только шелестела листва, чуть колеблемая ветерком; ночь была темная; и даже для постороннего зрителя здесь было что-то волнующее. Казалось, призраки умерших витают вокруг, бросая невидимую, но ощутимую тень на того, кто пришел их оплакивать.

Глубокое горе, которое я сперва ощутил, быстро сменилось яростью. Они были мертвы, а я жил; жил и их убийца; и я должен влачить постыльную для меня жизнь ради того, чтобы его уничтожить. Я преклонил колена в траве, поцеловал землю и произнес дрожащими губами: «Клянусь священной землей, на которой стою, тенями, витающими вокруг меня, моим глубоким и неутешным горем; клянусь тобою, Ночь, и силами, которые тобой правят, что буду преследовать дьявола, виновника всех несчастий, пока либо он, либо я не погибнем в смертельной схватке. Ради этого я остаюсь жить; ради этой сладкой мести я буду еще видеть солнце и ступать по зеленой траве, которые иначе навсегда исчезли бы для меня. Души мертвых! И вы, духи мести! Помогите мне и направьте меня. Пусть проклятое адское чудовище выпьет до дна чашу страданий; пусть узнает

отчаяние, какое испытываю я».

Я начал это заклинание торжественно и тихо, чувствуя, что души дорогих покойников слышат и одобряют меня; но под конец мной завладели фурии мщения, и мой голос пресекся от ярости.

В ответ из ночной тишины раздался громкий, дьявольский хохот. Он долго звучал в моих ушах; горное эхо повторяло его, и казалось, весь ад преследует меня насмешками. В эту минуту, в приступе отчаяния, я положил бы конец своей несчастной жизни, если бы не мой обет; он был услышан, и мне суждено было жить, чтобы мстить. Смех затих; и знакомый ненавистный голос где-то над самым моим ухом явственно произнес: «Я доволен; ты решил жить, несчастный! И я доволен».

Я бросился туда, откуда раздался голос; но демон ускользнул от меня. Показалась полная луна и осветила уродливую, зловещую фигуру, убегавшую со скоростью, недоступной простому смертному.

Я погнался за ним и преследовал его много месяцев. Напав на его след, я спустился по Рейну, но напрасно. Показалось синее Средиземное море; и мне случайно удалось увидеть, как демон спрятался ночью в трюме корабля, уходившего к берегам Черного моря. Я сел на тот же корабль; но ему какими-то неведомыми путями опять удалось исчезнуть.

Я прошел по его следу через бескрайние равнины России и Азии, хотя он все ускользал от меня. Бывало, что крестьяне, напуганные видом страшилища, говорили мне, куда он шел; бывало, что и он сам, боясь, чтобы я не умер от отчаяния, если совсем потеряю его след, оставлял какую-нибудь отметину, служившую мне указанием.

Падал снег, и я видел на белой равнине отпечатки его огромных ног. Вам, только еще вступающему в жизнь и незнакомому с тяготами и страданиями, не понять, что я пережил и переживаю поныне. Холод, голод и усталость были лишь малой частью того, что мне пришлось вынести. На мне лежало проклятие, и я носил в себе вечный ад; однако был у меня и некий хранительный дух, направлявший мои шаги; когда я более всего роптал, он вызволял меня из трудностей, казавшихся неодолимыми. Случалось, что мое тело, истощенное голодом, отказывалось служить; и тогда я находил в пустыне трапезу, подкреплявшую мои силы. То была грубая пища, какую ели местные жители, но я уверен, что ее предлагали мне духи, которых я призывал на помощь. Часто, когда все вокруг сохло, небо было безоблачно и я томился от жажды, набегало легкое облачко, роняло на меня освежающие капли и исчезало.

Там, где было возможно, я шел по берегу рек; но демон держался вдали от этих путей, ибо они были наиболее населенными. В других местах

люди почти не встречались; и я питался мясом попадавшихся мне зверей. Я имел при себе деньги и, раздавая их поселянам, заручался их помощью; или приносил убитую мною дичь и, взяв себе лишь небольшую часть, оставлял ее тем, кто давал мне огонь и все нужное для приготовления пищи.

Эта жизнь была мне ненавистна, и я вкушал радость только во сне. Благословенный сон! Часто, когда я бывал особенно несчастен, я засыпал, и сновидения приносили мне блаженство. Эти часы счастья были даром охранявших меня духов, чтобы мне хватило сил на мое паломничество. Если бы не эти передышки, я не смог бы вынести всех лишений. В течение дня надежда на ночной отдых поддерживала мои силы; во сне я видел друзей, жену и любимую родину; я вновь глядел в доброе лицо отца, слышал серебристый голос Элизабет, видел Клерваля в расцвете юности и сил. Часто, измученный трудным переходом, я убеждал себя, что мой день – это сон, а пробуждение наступит ночью в объятиях моих близких. Какую мучительную нежность я чувствовал к ним! Как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз даже и наяву; как я убеждал себя, что они еще живы! В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести, и преследование демона представлялось мне скорее велением небес, действием какой-то силы, которой я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желанием.

Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев или высекал их на камнях; они указывали мне путь и разжигали мою ярость. «Моему царствию еще не конец, – так гласила одна из них, – ты живешь, и ты – в моей власти. Следуй за мною; я держу путь к вечным льдам Севера; ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен. А здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, заячью тушку; ешь, подкрепляйся. Следуй за мной, о мой враг; нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть; но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься».

Насмешливый дьявол! Я снова клянусь отомстить тебе; снова обрекаю тебя, проклятый, на муки и смерть. Я не отступлю, пока один из нас не погибнет; а тогда с какой радостью я поспешу к Элизабет и ко всем моим близким, которые уже готовят мне награду за все тяготы моего ужасного странствия!

По мере того как я продвигался на север, снежный покров становился все толще, а холод сделался почти нестерпимым. Крестьяне наглухо заперлись в своих домишках, и лишь немногие показывались наружу, чтобы ловить животных, которых голод выгонял на поиски добычи. Реки

были скованы льдом, добыть рыбу было невозможно, и я лишился главного источника питания.

Чем труднее мне было, тем больше радовался мой враг. Одна из оставленных им надписей гласила: «Готовься! Твои испытания только начинаются; кутайся в меха, запасай пищу; мы отправляемся в такое путешествие, что твои муки утолят даже мою неугасимую ненависть».

Эти издевательские слова только придали мне мужества и упорства; я решил не отступать от своего намерения и, призвав небо в помощники, с несокрушимой энергией продвигался по снежной равнине, пока на горизонте не показался океан. О, как он был непохож на синие моря юга! Покрытый льдами, он отличался от земли только вздыбленной поверхностью. Когда-то греки, завидев Средиземное море с холмов Азии, заплакали от радости, ибо то был конец трудного пути. Я не заплакал; но сердце мое было переполнено; опустившись на колени, я возблагодарил доброго духа, благополучно приведшего меня туда, где я надеялся настигнуть врага, вопреки его насмешкам, и схватиться с ним.

За несколько недель до того я достал сани и упряжку собак и мчался по снежной равнине с невероятной скоростью; не знаю, какие средства передвижения были у демона; но если я прежде с каждым днем все больше отставал от него, то теперь я начал его нагонять; когда я впервые увидел океан, демон был лишь на один день пути впереди меня, и я надеялся догнать его, прежде чем он достигнет берега. Я рванулся вперед с удвоенной энергией и через два дня добрался до жалкой прибрежной деревушки. Я расспросил жителей о демоне и получил самые точные сведения. Они сказали, что уродливый великан побывал здесь накануне вечером, что он вооружен ружьем и несколькими пистолетами и его страшный вид обратил в бегство обитателей одной уединенной хижины. Он забрал там весь зимний запас пищи, погрузил его в сани, захватил упряжку собак и в ту же ночь, к великому облегчению перепуганных поселян, пустился дальше, по морю, туда, где не было никакой земли; они полагали, что он утонет, когда вскроется лед, или же замерзнет.

Услышав это известие, я сперва пришел в отчаяние. Он ускользнул от меня, и мне предстоял страшный и почти бесконечный путь по ледяным глыбам застывшего океана, при стуже, которую не могут долго выдерживать даже местные жители, а тем более не надеялся выдержать я, уроженец теплых краев. Но при мысли, что демон будет жить и торжествовать, во мне вспыхнули ярость и жажда мести, затопившие, точно мощный прилив, все другие чувства. После краткого отдыха, во время которого призраки мертвых витали вокруг меня, побуждая к

мщению, я стал готовиться в путь.

Я сменил свои сани на другие, более пригодные для езды по ледяному океану, и, закупив большие запасы провизии, съехал с берега в море.

Не могу сказать, сколько дней прошло с тех пор; знаю только, что я перенес муки, которых не выдержал бы, если б не горячая во мне неутолимая жажда праведного возмездия. Часто мой путь преграждался огромными массивными глыбами льда; нередко слышал я подо льдом грохот волн, грозивших мне гибелью. Но затем мороз крепчал, и путь по морю становился надежнее.

Судя по количеству провианта, которое я израсходовал, я считал, что провел в пути около трех недель. Я истерзался; постоянно обманутые надежды часто исторгали из моих глаз горькие слезы бессилия и тоски. Мной уже овладевало отчаяние, и я, конечно, скоро поддался бы ему и погиб. Но однажды, когда бедные животные, впряженные в сани, с невероятным трудом втащили их на вершину ледяной горы и одна из собак тут же околела от натуги, я тоскливо обозрел открывшуюся передо мной равнину и вдруг заметил на ней темную точку. Я напряг зрение, чтобы разглядеть ее, и издал торжествующий крик: это были сани, а на них хорошо знакомая мне уродливая фигура. Живительная струя надежды снова влилась в мое сердце. Глаза наполнились теплыми слезами, которые я поспешно отер, чтобы они не мешали мне видеть демона; но горячая влага все туманила мне глаза, и, не в силах бороться с волнением, я громко зарыдал.

Однако медлить было нельзя; я выпряг мертвую собаку и досыта накормил остальных; после часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были еще видны, и я лишь на мгновение терял их из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял их, и когда, после двух дней погони, оказался от них на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло.

И вот тут-то, когда я уже готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня; я потерял его след, потерял совсем, чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться: шум валов, катившихся подо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер; море ревело; все вдруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с оглушительным грохотом. Это свершилось очень быстро; через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель.

Так я провел много ужасных часов; несколько собак у меня издохло; и сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре и обещавший мне помощь и жизнь. Я не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подогнал к кораблю свой ледяной плот. Если б оказалось, что вы следуете на юг, я был готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения. Я надеялся убедить вас дать мне лодку, чтобы на ней преследовать своего врага. Но вы держали путь на север. Вы взяли меня на борт, когда я был до крайности истощен; обессиленный лишениями, я был близок к смерти, а я еще страшусь ее, ибо не выполнил своей задачи.

О, когда же мой добрый ангел приведет меня к чудовищу и я найду желанный покой? Неужели я умру, а тот будет жить? Если так, поклянитесь мне, Уолтон, что не дадите ему ускользнуть; что вы найдете его и свершите месть за меня. Но что это? Я осмеливаюсь просить, чтобы другой продолжил мое паломничество и перенес все тяготы, которые достались мне? Нет, я не столь себялюбив. И все же, если после моей смерти он вам встретится, если духи мщения приведут его к вам, клянитесь, что он не уйдет живым, – клянитесь, что он не восторжествует над моими бедами, не останется жить и творить новое зло. Он красноречив и умеет убеждать; некогда его слова имели власть даже надо мной. Но не верьте им. Он такой же дьявол в душе, как и по внешности; он полон коварства и адской злобы. Не слушайте его. Повторите про себя имена Уильяма, Жюстины, Клерваля, Элизабет, моего отца и самого несчастного Виктора – и разите его прямо в сердце. Мой дух будет с вами рядом и направит вашу шпагу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДНЕВНИКА УОЛТОНА
26 августа, 17.

Ты прочла эту странную и страшную повесть, Маргарет; и я уверен, что кровь стыла у тебя в жилах от ужаса, который ощущаю и я. Иногда внезапный приступ душевной муки прерывал его рассказ; порой он с трудом, прерывающимся голосом произносил свои полные отчаяния слова. Его прекрасные глаза то загорались негодованием, то туманились печалью и угасали в беспредельной тоске. Иногда он овладевал собой и своим голосом и рассказывал самые страшные вещи совершенно спокойным тоном; но порой что-то прорывалось, подобно лаве вулкана, и с лицом, искаженным яростью, он выкрикивал проклятия своему мучителю.

Его рассказ вполне связан и производит правдоподобное впечатление;

и все же признаюсь тебе, что письма Феликса и Сафии, которые он мне показал, и само чудовище, мельком увиденное нами с корабля, больше убедили меня в истинности его рассказа, чем самые серьезные его заверения. Итак, чудовище действительно существует! Я не могу в этом сомневаться, но не перестаю дивиться. Иногда я пытался вывести у Франкенштейна подробности создания его детища; но тут он становился непроницаем.

– Вы сошли с ума, мой друг, – говорил он. – Знаете, куда может привести вас ваше праздное любопытство? Неужели вы тоже хотите создать себе и всему миру дьявольски злобного врага? Молчите и слушайте повесть о моих бедствиях; не старайтесь накликать их на себя.

Франкенштейн обнаружил, что я записываю его рассказ; он пожелал посмотреть мои записи и во многих местах сделал поправки и добавления; более всего там, где пересказаны его разговоры с его врагом. «Раз уже вы записываете мою историю, – сказал он, – я не хотел бы, чтобы она дошла до потомков в искаженном виде».

Целую неделю слушал я его повесть, самую странную, какую могло создать человеческое воображение. Завороженный и рассказом моего гостя, и обаянием его личности, я жадно впивал каждое его слово. Мне хотелось бы утешить его; но как могу я обещать радости жизни тому, кто безмерно несчастен и лишился всех надежд? Нет! Единственную радость, какую он еще способен вкусить, он ощутит, когда его сломленный дух найдет покой в смерти. Правда, он и сейчас имеет одно утешение, порожденное одиночеством и болезненным бредом: когда он в забытии видит своих близких и в общении с ними находит облегчение своих страданий или новые силы для мести, ему кажется, что это не плод его воображения, но что они действительно являются к нему из иного мира. Эта вера придает его грезам серьезность и делает их для меня почти столь же значительными и интересными, как сама правда.

Впрочем, история его жизни и его несчастий не является единственной темой наших бесед. Он весьма начитан и во всех общих вопросах обнаруживает огромные познания и большую остроту суждений. Он умеет говорить убедительно и трогательно; нельзя слушать без слез, когда он рассказывает о волнующем событии или хочет вызвать ваше сочувствие. Как великолепен он, вероятно, был в дни своего расцвета, если даже сейчас, на пороге смерти, он так благороден и величав!.. По-видимому, он сознает свою прежнюю силу и глубину своего падения.

– В молодости, – сказал он однажды, – я чувствовал себя созданным для великих дел. Я умею глубоко чувствовать, но одновременно наделен

трезвым умом, необходимым для больших свершений. Сознание того, как много мне дано, поддерживало меня, когда другой впал бы в уныние; ибо я считал преступным растрачивать на бесплодную печаль талант, который может служить людям. Размышляя над тем, что мне удалось свершить – как-никак создать разумное живое существо, – я не мог не сознавать своего превосходства над обычными людьми. Но эта мысль, окрылявшая меня в начале моего пути, теперь заставляет меня еще ниже опускать голову. Все мои стремления и надежды кончились крахом; подобно архангелу, возжаждавшему высшей власти, я прикован цепями в вечном аду. Я был наделен одновременно и живым воображением, и острым, упорным аналитическим умом; сочетание этих качеств позволило мне задумать и осуществить создание человеческого существа. Я и сейчас не могу без волнения вспомнить, как я мечтал, пока работал. Я мысленно ступал по облакам, ликовал в сознании своего могущества, весь горел при мысли о благодетельных последствиях моего открытия. Я с детства любил мечтать о высоком и был полон благородного честолюбия – а теперь, какое страшное падение! О друг мой, если бы вы знали меня таким, каким я был когда-то, вы не узнали бы меня в моем нынешнем жалком состоянии. Уныние было мне почти неведомо; казалось, все вело меня к великой цели, пока я не пал, чтобы уже никогда более не подняться.

Неужели мне суждено потерять этого замечательного человека? Я жаждал иметь друга – такого, который полюбит бы меня и разделял мои стремления. И – о чудо! – я нашел его в здешних морях; но боюсь, что нашел лишь для того, чтобы оценить по достоинству и тут же вновь потерять. Я пытаюсь примирить его с жизнью, но он отвергает всякую мысль об этом.

– Спасибо вам, Уолтон, – говорит он, – за доброту к несчастному; но, обещая мне новые привязанности, неужели вы думаете, что они заменят мне мои утраты? Кто может стать для меня тем, чем был Клерваль? Какая женщина может стать второй Элизабет? Дружья детства, даже когда они не пленяют нас исключительными достоинствами, имеют над нашей душой власть, какая редко достается друзьям позднейших лет. Им известны наши детские склонности, которые могут впоследствии изменяться, но никогда не исчезают совершенно; они могут верно судить о наших поступках, потому что лучше знают наши истинные побуждения. Брат или сестра неспособны заподозрить вас во лжи или измене, разве только вы рано обнаружили к ним склонность; тогда как друг, даже очень к вам привязанный, может иногда невольно возбудить подозрения. А у меня были друзья, любимые не только по привычке, но и за их достоинства; где бы я

ни был, мне всюду слышатся ласковые слова Элизабет и голос Клерваля. Их уже нет; и я оказался в таком одиночестве, что лишь одно чувство еще дает мне силу жить. Будь я занят важными открытиями, обещающими много пользы людям, я хотел бы жить ради их завершения. Но это мне не суждено; я должен выследить и уничтожить создание, которому я дал жизнь; тогда моя земная миссия будет выполнена и я могу умереть.

2 сентября

Любимая сестра, это письмо я пишу тебе, находясь среди опасностей и в полном неведении насчет того, суждено ли мне увидеть милую Англию и еще более милых сердцу людей, живущих там. Меня окружают непроходимые нагромождения льда, ежеминутно грозящие раздавить мое судно. Смелчаки, которых я набрал себе в спутники, смотрят на меня с надеждой, но что я могу сделать? Положение наше ужасно, но мужество и надежда не покидают меня. Страшно, конечно, подумать, что я подверг опасности столько людей. Если мы погибнем, виною будет моя безрассудная затея.

А что будешь думать ты, Маргарет? Ты не узнаешь о моей гибели и будешь нетерпеливо ждать моего возвращения. Пройдут годы, и у тебя будут приступы отчаяния, но надежда все еще будет тебя дразнить. О милая сестра, мучительная гибель твоих надежд страшит меня более собственной смерти. И все же у тебя есть муж и прелестные дети; ты можешь быть счастлива; да пошлет тебе небо благословение и счастье!

Мой бедный гость смотрит на меня с глубоким сочувствием. Он пытается вселить в меня надежду и говорит так, словно считает жизнь ценным даром. Он напоминает мне, как часто мореплаватели встречают в здешних широтах подобные препятствия; и я помимо своей воли начинаю верить в счастливый исход. Даже матросы ощущают силу его красноречия; когда он говорит, они забывают об отчаянии; он подымает их дух; слыша его голос, они начинают верить, что огромные ледяные горы – не более чем холмики, насыпанные кротами, пустячные препятствия, которые исчезнут перед решимостью человека. Но этот подъем длится у них недолго; каждый день задержки наполняет их страхом, и я начинаю бояться, как бы отчаяние не довело их до мятежа.

5 сентября

Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе.

Мы все еще окружены льдами, и нам все еще грозит опасность быть раздавленными. Холод усиливается, и многие из моих несчастных спутников уже нашли смерть в здешних суровых краях. Франкенштейн

слабеет день ото дня; в его глазах еще горит лихорадочный огонь; но он до крайности истощен, и когда ему приходится сделать какое-нибудь усилие, он тотчас же снова погружается в забытие, весьма похожее на смертный сон.

Как я писал в моем прошлом письме, я опасался мятежа. Нынче утром, когда я смотрел на изможденное лицо моего друга – глаза его были полужакрыты, и все тело расслаблено, – несколько матросов попросило позволения войти в каюту. Они вошли, и их вожак обратился ко мне. Он заявил, что он и его спутники – депутация от всего экипажа с просьбой ко мне, в которой я, по справедливости, не могу отказать. Мы затерты во льдах и, быть может, вообще из них не выберемся; но они опасаются, что, если во льду и откроется проход, я буду настолько безрассуден, что пойду дальше и поведу их к новым опасностям, даже когда им удастся счастливо избежать нынешней. Поэтому они настаивают, чтобы я торжественно обязался идти к югу, как только судно освободится из льдов.

Это взволновало меня. Я еще не отчаялся достичь цели и не думал о возвращении, если б нам удалось высвободиться. Но мог ли я, по справедливости, отказать им в их просьбе? Я колебался; и тут Франкенштейн, сперва молчавший и казавшийся настолько слабым, что едва ли даже слушал нас, восторженно; глаза его сверкнули, а щеки зарумянились от кратковременного прилива сил. Обратясь к матросам, он сказал: «Чего вы хотите? Чего вы требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвлечь от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? А почему славной? Не потому, что путь ее обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов; потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стойкость и проявлять мужество; потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, а вы должны глядеть им в лицо и побеждать их. Вот почему это – славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода, ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоявшихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу и опасности, – бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы, к чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? Проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин и даже больше того: стойкость и непоколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца; он тает; он не устоит

перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили, и не привыкли поворачиваться к врагу спиной».

Его голос выразительно подчеркивал все высказываемые им чувства; глаза сверкали мужеством и благородством; неудивительно, что мои люди были взволнованы. Они переглядывались и ничего не отвечали. Тогда заговорил я; я велел им разойтись и подумать над сказанным; я обещал, что не поведу их дальше на север, если они этому решительно воспротивятся; но выразил надежду, что вместе с размышлением к ним вернется мужество.

Они разошлись, а я обернулся к моему другу; но он крайне ослабел и казался почти безжизненным.

Чем все это кончится, не знаю; я бы, кажется, охотнее умер, чем вернулся так бесславно, не выполнив своей задачи. Боюсь, однако, что именно это мне суждено; не побуждаемые жаждой славы и чести, люди ни за что не станут добровольно терпеть наши нынешние лишения.

7 сентября

Жребий брошен; я дал согласие вернуться, если мы не погибнем. Итак, мои надежды погублены малодушием и нерешительностью; я возвращаюсь разочарованный, ничего не узнав. Чтобы терпеливо снести подобную несправедливость, надо больше философской мудрости, чем ее имеется у меня.

12 сентября

Все кончено; я возвращаюсь в Англию. Я потерял надежду прославиться и принести пользу людям, потерял я и друга. Но постараюсь подробно рассказать тебе об этих горьких минутах, милая сестра; и раз волны несут меня к Англии и к тебе, я не буду отчаиваться.

Девятого сентября лед пришел в движение; ледяные острова начали раскалываться, и грохот, подобный грому, был слышен издалека. Нам грозила большая опасность; но так как мы могли лишь пассивно выжидать событий, мое внимание было обращено прежде всего на моего несчастного гостя, которому стало настолько хуже, что он уже не вставал с постели. Лед позади нас трещал; его с силой гнало к северу; подул западный ветер, и 11-го числа проход на юг полностью освободился ото льда. Когда матросы увидели это и узнали о предстоящем возвращении на родину, они испустили крик радости; они кричали громко и долго. Франкенштейн очнулся от забытья и спросил о причине шума. «Они радуются, – сказал я, – потому что скоро вернутся в Англию». – «Итак, вы действительно решили вернуться?» – «Увы, да; я не могу противиться их требованиям. Не могу вести их против их воли в это опасное плавание и вынужден

вернуться». – «Что ж, возвращайтесь; а я не вернусь. Вы можете отказаться от своей задачи. Моя поручена мне небесами; и я отказываться не смею. Я слаб, но духи, помогающие мне в моем отмищении, придадут мне достаточно сил».

С этими словами он попытался подняться с постели, но это было ему не по силам; он опрокинулся навзничь и потерял сознание.

Прошло много времени, прежде чем он очнулся; и мне не раз казалось, что жизнь уже отлетела от него. Наконец он открыл глаза; он дышал с трудом и не мог говорить. Врач дал ему успокоительное питье и велел его не тревожить. Мне он при этом сообщил, что часы моего друга сочтены.

Итак, приговор был произнесен, и мне оставалось лишь горевать и ждать. Я сидел у его постели; глаза его были закрыты; казалось, что он спит; но скоро он слабым голосом окликнул меня и, попросив придвинуться ближе, сказал: «Увы! Силы, на которые я надеялся, иссякли. Я чувствую, что умираю; а он, мой враг и преследователь, вероятно, жив. Не думайте, Уолтон, что в свои последние минуты я все еще ощущаю ту ненависть и жажду мести, которые однажды высказал; я лишь чувствую, что вправе желать смерти моего противника. В эти дни я много думал над своими прошлыми поступками – и не могу их осуждать.

Увлечшись своей идеей, я создал разумное существо и был обязан, насколько то было в моих силах, обеспечить его счастье и благополучие. Это был мой долг; но у меня был и другой долг, еще выше. Долг в отношении моих собратьев-людей стоял на первом месте, ибо здесь шла речь о счастье или несчастье многих. Руководясь этим долгом, я отказался – и считаю, что правильно, – создать подругу для моего первого творения. Он проявил невиданную злобность и эгоизм; он убил моих близких; он уничтожил людей, тонко чувствующих, счастливых и мудрых. Я не знаю, где предел его мстительности. Он несчастен; но чтобы он не мог делать несчастными других, он должен умереть. Его уничтожение стало моей задачей, но я не сумел ее выполнить. Когда мной руководила злоба и личная месть, я просил вас завершить мое неоконченное дело; и я возобновляю эту просьбу сейчас, когда меня побуждают к этому разум и добродетель.

Но я не могу просить вас ради этой задачи отречься от родины и друзей; сейчас, когда вы возвращаетесь в Англию, маловероятно, чтобы вы с ним встретились. Я предоставляю вам самому решить, что вы сочтете своим долгом; мой ум и способность суждения уже отуманены близостью смерти. Я не смею просить вас делать то, что мне кажется правильным, ибо мною все еще, быть может, руководят страсти.

Меня тревожит, что он жив и будет творить зло; если б не это, то нынешний час, когда я жду успокоения, был бы единственным счастливым часом за последние годы моей жизни. Тени дорогих мертвых уже видятся мне, и я спешу к ним. Прощайте, Уолтон! Ищите счастья в покое и бойтесь честолюбия; бойтесь даже невинного по видимости стремления отличиться в научных открытиях. Впрочем, к чему я говорю это? Сам я потерпел неудачу, но другой, быть может, будет счастливее».

Голос его постепенно слабел; наконец, утомленный усилиями, он умолкнул. Спустя полчаса он снова попытался заговорить, но уже не смог; он слабо пожал мне руку, и глаза его навеки сомкнулись, а кроткая улыбка исчезла с его лица.

Маргарет, что мне сказать о безвременной гибели этого великого духа? Как передать тебе всю глубину моей скорби? Все, что я мог бы сказать, будет слабо и недостаточно. Я плачу; душа моя омрачена тяжелой потерей. Но наш путь лежит к берегам Англии, и там я надеюсь найти утешение.

Но меня прерывают. Что могут означать эти звуки? Сейчас полночь; дует свежий ветер, и вахтенных на палубе не слышно. Вот опять; мне слышится словно человеческий голос, но более хриплый; он доносится из каюты, где еще лежит тело Франкенштейна. Надо пойти и посмотреть, в чем дело. Спокойной ночи, милая сестра.

Великий боже! Что за сцена сейчас разыгралась! Я все еще ошеломлен ею. Едва ли я сумею рассказать о ней во всех подробностях; однако моя повесть была бы неполной без этой последней, незабываемой сцены.

Я вошел в каюту, где лежали останки моего благородного и несчастного друга. Над ним склонилось какое-то существо, которое не опишешь словами: гигантского роста, но уродливо непропорциональное и неуклюжее. Его лицо, склоненное над гробом, было скрыто прядями длинных волос; видна была лишь огромная рука, цветом и видом напоминавшая тело мумии. Заслышав мои шаги, чудовище оборвало свои горестные причитания и метнулось к окну. Никогда я не видел ничего ужаснее этого лица, его отталкивающего уродства. Я невольно закрыл глаза и напомнил себе, что у меня есть долг в отношении убийцы. Я приказал ему остановиться.

Он остановился, глядя на меня с удивлением; но тут же, снова обернувшись к безжизненному телу своего создателя, казалось, позабыл обо мне, весь охваченный каким-то исступлением.

– Вот еще одна моя жертва! – воскликнул он. – Этим завершается цепь моих злодеяний. О Франкенштейн! Благородный подвижник! Тщетно было бы мне сейчас молить у тебя прощения! Мне, который привел тебя к

гибели, погубив всех, кто был тебе дорог. Увы! Он мертв, он мне не ответит.

Тут его голос прервался; первым моим побуждением было выполнить предсмертное желание моего друга и уничтожить его противника; но я колебался, движимый смешанными чувствами любопытства и сострадания. Я приблизился к чудовищу, не смея, однако, еще раз поднять на него глаза – такой ужас вызывала его нечеловеческая уродливость. Я попробовал заговорить, но слова замерли у меня на устах. А демон все твердил бессвязные и безумные укоры самому себе. Наконец, когда его страстные выкрики на мгновение смолкли, я решился заговорить.

– Твое раскаяние бесполезно, – сказал я. – Если бы ты слушался голоса совести и чувствовал ее укоры, прежде чем простирать свою адскую месть до этой последней черты, Франкенштейн был бы сейчас жив.

– А ты думаешь, – отозвался демон, – что я и тогда не чувствовал мук и раскаяния? Даже он, – продолжал он, указывая на тело, – не испытал, умирая, и одной десятичной доли тех терзаний, какие ощущал я, пока вел его к гибели. Себялюбивый инстинкт толкал меня все дальше, а сердце было отравлено сознанием вины. Ты думаешь, что стоны Клерваля звучали для меня музыкой? Мое сердце было создано, чтобы отзываться на любовь и ласку; а когда несчастья вынудили его к ненависти и злу, это насильственное превращение стоило ему таких мук, каких ты не можешь даже вообразить.

После убийства Клерваля я возвратился в Швейцарию разбитый и подавленный. Я жалел, мучительно жалел Франкенштейна, а себя ненавидел. Но когда я узнал, что он, создавший и меня самого, и мои невыразимые муки, лелеет мечту о счастье; что, ввергнув меня в отчаяние, он ищет для себя радости именно в тех чувствах и страстях, которые мне навсегда недоступны, – когда я узнал это, бессильная зависть и горькое негодование наполнили меня ненасытной жадой мести. Я вспомнил свою угрозу и решил привести ее в исполнение. Я знал, что готовлю себе нестерпимые муки; я был всецело во власти побуждения, ненавистного мне самому, но неодолимого. И все же, когда она умерла!.. Нет, я не могу даже сказать, что я страдал. Я отбросил всякое чувство, подавил всякую боль и достиг предела холодного отчаяния. С той поры зло стало моим благом. Зайдя так далеко, я не имел уже выбора и вынужден был следовать по избранному мной пути. Завершение моих дьявольских замыслов сделалось для меня неутолимой страстью. Теперь круг замкнулся, и вот последняя из моих жертв!

Я был сперва взволнован этими полными отчаяния словами; но,

вспомнив, что говорил Франкенштейн о его красноречии и умении убеждать, и взглянув еще раз на безжизненное тело моего друга, я снова загорелся негодованием.

– Негодяй! – сказал я. – Что же ты пришел хныкать над бедами, которые сам же принес? Ты бросил зажженный факел в здание, а когда оно сгорело, садишься на развалины и сокрушаешься о нем. Лицемерный дьявол! Если бы тот, о ком ты скорбишь, был жив, он снова стал бы предметом твоей адской мести и снова пал бы ее жертвой. В тебе говорит не жалость; ты жалеешь только о том, что жертва уже недосыгаема для твоей злобы.

– О нет, это не так, совсем не так, – прервал меня демон. – И, однако, таково, как видно, впечатление, которое производят мои поступки. Но я не ищу сострадания. Никогда и ни в ком мне не найти сочувствия. Когда я впервые стал искать его, то ради того, чтобы разделить с другими любовь к добродетели, чувства любви и преданности, переполнявшие все мое существо. Теперь, когда добро стало для меня призраком, когда любовь и счастье обернулись ненавистью и горьким отчаянием, к чему мне искать сочувствия? Мне суждено страдать в одиночестве, покуда я жив; а когда умру, все будут клясть самую память обо мне. Когда-то я тешил себя мечтами о добродетели, о славе и счастье. Когда-то я тщетно надеялся встретить людей, которые простят мне мой внешний вид и полюбят за те добрые чувства, какие я проявлял. Я лелеял высокие помыслы о чести и самоотверженности. Теперь преступления низвели меня ниже худшего из зверей. Нет на свете вины, нет злобы, нет мук, которые могли бы сравниться с моими. Вспоминая страшный список моих злодеяний, я не могу поверить, что я – то самое существо, которое так восторженно поклонялось Красоте и Добру. Однако это так; падший ангел становится злобным дьяволом. Но даже враг бога и людей в своем падении имел друзей и спутников, и только я одинок.

Ты, называющий себя другом Франкенштейна, вероятно, знаешь о моих злодеяниях и моих несчастьях. Но как бы подробно он ни рассказал тебе о них, он не мог передать ужаса тех часов, – нет, не часов, а целых месяцев, когда меня сжигала неутоленная страсть. Я разрушал его жизнь, но не находил в этом удовлетворения. Желания по-прежнему томили меня; я по-прежнему жаждал любви и дружбы, а меня все так же отталкивали. Разве это справедливо? Почему меня считают единственным виновным, между тем как передо мною виновен весь род людской? Почему вы не осуждаете Феликса, с презрением прогнавшего друга от своих дверей? Почему не возмущаетесь крестьянином, который бросился убивать

спасителя своего ребенка? О нет, их вы считаете добродетельными и безупречными! И только меня, одинокого и несчастного, называют чудовищем, гонят, бьют и топчут. Еще и сейчас кровь моя кипит при воспоминании о перенесенных мною обидах.

Но я негодай – это правда! Я убил столько прелестных и беззащитных существ; я душил невинных во время сна; я душил тех, кто никогда не причинял вреда ни мне, ни кому-либо другому. Я обрек на страдания своего создателя – подлинный образец всего, что в человеке достойно любви и восхищения; я преследовал его, пока не довел до гибели. Вот он лежит, безжизненный и холодный. Ты ненавидишь меня; но твоя ненависть – ничто по сравнению с той, которую я сам к себе чувствую. Я гляжу на руки, совершившие это злодеяние, думаю о сердце, где зародился подобный замысел, и жажду минуты, когда не буду больше видеть этих рук, не буду больше терзаться воспоминаниями и угрызениями совести.

Не опасайся, что я еще кому-либо причиню зло. Мое дело почти закончено. Для завершения всего, что мне суждено на земле, не нужна ни твоя, ни еще чья-либо смерть – а только моя собственная. Не думай, что я стану медлить с принесением этой жертвы. Я покину твой корабль на том же ледяном плоту, который доставил меня сюда, и отправлюсь дальше на север; там я воздвигну себе погребальный костер и превращу в пепел свое злополучное тело, чтобы мои останки не послужили для какого-нибудь любопытного ключом к запретной тайне и он не вздумал создать другого, подобного мне. Я умру. Я больше не буду ощущать тоски, которая сейчас снедает меня, не стану больше терзаться желаниями, которые не могу ни утолить, ни подавить. Тот, кто вдохнул в меня жизнь, уже мертв, а когда и меня не станет, исчезнет скоро самая память о нас обоих. Я уже не увижу солнца и звезд, не почувствую на своих щеках дыхания ветра. Для меня исчезнет и свет, и все ощущения – и в этом небытии я должен найти свое счастье. Несколько лет тому назад, когда мне впервые предстали образы этого мира, когда я ощутил ласковое тепло лета, услышал шум листвы и пение птиц, мысль о смерти вызвала бы у меня слезы; а сейчас это моя единственная отрада. Оскверненный злодейством, терзаемый укорами совести, где я найду покой, если не в смерти?

Прощай! Покидая тебя, я расстаюсь с последним, которого увидят эти глаза. Прощай, Франкенштейн! Если б ты еще жил и желал мне отомстить, тебе лучше было бы обречь меня жить, чем предать уничтожению. Но все было иначе; ты стремился уничтожить меня, чтобы я не творил зла; и если, по каким-либо неведомым мне законам, мысль и чувства в тебе не угасли, ты не мог бы пожелать мне более жестоких мук, чем те, что я ощущаю. Как

ни был ты несчастен, мои страдания были еще сильнее; ибо жало раскаяния не перестанет растравлять мои раны, пока их навек не закроет смерть.

Но скоро, скоро я умру и уже ничего не буду чувствовать. Жгучие муки скоро угаснут во мне. Я гордо взойду на свой погребальный костер и с ликованием отдамся жадному пламени. Потом костер погаснет, и ветер развеет мой пепел над водными просторами. Мой дух уснет спокойно; а если будет мыслить, то это, конечно, будут совсем иные мысли. Прощай!

С этими словами он выпрыгнул из окна каюты на ледяной плот, причаленный вплотную к нашему кораблю. Скоро волны унесли его, и он исчез в темной дали.

Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей»

С. 7. *Полидори* – домашний врач Байрона.

Том из Ковентри. – Имеется в виду «Том, который подсматривал» из легенды о леди Годиве. В 1040 году, как гласит эта легенда, жестокий граф Леофрик обложил жителей Ковентри непосильными податями. Когда жена графа, леди Годива, вступилась за горожан, граф, издеваясь, предложил ей проехать по городу обнаженной – и тогда просьба ее будет исполнена. Годива не сочла это за позор, только предупредила горожан, чтобы никто не выглядывал на улицу. Все наглухо заперли ставни. Некий портной по имени Том стал подглядывать в щель ставни и тотчас же ослеп.

С. 8. ...напоминают... о Колумбе и его яйце. – В одном из широко известных, если и не вполне достоверных анекдотов о Колумбе рассказывается, как на чествовании Колумба после возвращения его из плавания завистники стали утверждать, что открыть Америку вовсе не трудно и это может сделать всякий, кто туда доплывет. Колумб взял сваренное вкрутую яйцо и предложил присутствующим поставить его стоямя. Никто не сумел этого сделать. Колумб надбил яйцо с одного конца и легко его поставил. «Ну, так-то это может сделать каждый», – сказали ему. «Да, если сперва посмотрит, как это делает другой», – ответил Колумб.

С. 8. ...об опытах доктора Дарвина. – Здесь, видимо, имеется в виду Эразм Дарвин (1731–1802), дед знаменитого естествоиспытателя Чарльза Дарвина, врач, ботаник и поэт.

С. 20. «*края туманов и снегов*»... – здесь и далее цитируется поэма английского романтика С. Кольриджа «Старый мореход».

С. 68. *Так одинокий пешеход*... – строки из поэмы С. Кольриджа «Старый мореход».

С. 69. «*Векфильдский священник*» – роман английского писателя Оливера Гольдсмита (1728–1774).

С. 76. *Анжелика* – героиня поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд».

С. 117. *Мы можем спать – и мучиться во сне*... – строки из стихотворения Перси Б. Шелли «Изменчивость» (1816).

С. 128. *Пандемониум* – так в поэме Мильтона «Потерянный рай» называется столица Ада, а также находящийся там дворец Сатаны с

огромным тронным залом. До возведения этого дворца Сатана и его воинство ангелов, восставших против бога, терпели муки в огненном озере, куда были низвергнуты Богом.

С. 143. *«Руины империй» Вольнея.* – В своей книге «Руины, или Размышления о революциях империй» французский просветитель Вольней (1757–1820) пытался выяснить причины расцвета и упадка государств. Книга содержит критику церкви и религии как оплота феодального деспотизма. Социальный идеал Вольнея – буржуазное общество во главе с просвещенным монархом.

С. 193. *Грохот водопада был музыкой ему...* – Строки из стихотворения английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта «Тинтернское аббатство».

С. 197. *...о событиях, происшедших там более полутора столетий тому назад.* – Имеются в виду события английской буржуазной революции 1668 года.

З. Александрова

notes

Примечания

1

Рабов, ежечасно ропцущих (*ит.*).

Перевод В. Левики.

Пиков (фр.).

Перевод К. Чемены.

Перевод З. Александровой.

Тоской по родине (*фр.*).